



Сергей Есенин
Я, Есенин Сергей...

«Public Domain»

Есенин С. А.

Я, Есенин Сергей... / С. А. Есенин — «Public Domain»,

Прошло почти сто пятнадцать лет со дня рождения Есенина, а он по-прежнему самый читаемый, самый популярный, воистину народный поэт. В настоящий однотомник – «Я, Есенин Сергей», кроме лирики, поэм, прозы и иллюстрированной хроники жизни и творчества поэта, включены воспоминания и статьи из легендарного, ставшего раритетом сборника «Памяти Есенина», изданного Всероссийским союзом поэтов в 1926 году. В полном составе эти материалы никогда не переиздавались.

Содержание

Проскакал на розовом коне...	5
Лирика	16
Калики	17
Подражание песне	20
Береза	23
Пороша	25
С добрым утром!	26
В хате	27
Осень	33
Корова	41
Песнь о собаке	43
Голубень	49
Лисица	52
Пропавший месяц	62
Хулиган	76
Исповедь хулигана	80
Песнь о хлебе	84
Прощание с Мариенгофом	93
Папиросники	103
Пушкину	104
Сукин сын	105
Возвращение на Родину	109
Русь Советская	112
Русь уходящая	115
Стансы	119
Поэтам Грузии	122
На Кавказе	124
Письмо матери	126
Письмо к женщине	128
Персидские мотивы	133
Стихи двадцать пятого года	146
Конец ознакомительного фрагмента.	160

Сергей Есенин Я, Есенин Сергей...

Со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественно уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобною свободой и неотяжелев подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, быющим комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией.

Самое драгоценное в нем – образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве.

Борис Пастернак

Проскакал на розовом коне...

Есенин – самый популярный, в прямом смысле – народный и при этом совсем не общедоступный поэт. Его поэтика, при кажущейся простоте и прозрачности, причудлива и удивительна. Немало удивительного и в его судьбе. Явившись из деревенской глуши, он, по утверждению «людской молвы», поднялся по парадной лестнице Петербургского Дома Искусств в деревенских валенках и лазоревой косоворотке, не конфузясь неприглядной «одевы», уверенно и спокойно – как власть имеющий, как полномочный посол Всея Руси. На расстоянии полувека, в середине шестидесятых, дебют Есенина выглядел именно так – лубочно-триумфально. Легенда, героем которой он сделался, стерла детали, мешающие апокрифу о пришествии «вербного отрока» сохранить, что называется, чистоту жанра.

В действительности начинал Есенин отнюдь не блистательно. Его ранние, написанные еще в церковно-учительской школе (1909–1912) стихи и подражательны, и несовершенно. Да и прибыл Сергей Александрович из рязанского захолустья в Москву не для того только, чтобы удивить отставную столицу своим явлением. Переехал, как и многие получившие образование крестьянские дети, на заработки, ибо «пропасть в глуши» и тянуть лямку наставника деревенской школы грамоты при самом искреннем сочувствии к «забитому» и «от света гонимому народу» решительно отказался. Несмотря на слезы матери и гнев отца, которым очень-очень хотелось, чтобы их первенец, такой пригожий и умный, всему селу на зависть стал учителем.

Сменив несколько явно не подходящих ему профессий (конторщик в мясной лавке, экспедитор в издательстве «Культура»), новоиспеченный москвич довольно быстро нашел приличную работу – устроился помощником корректора в типографию Сытинского издательского товарищества. Там, кстати, познакомился с порядочной и славной Анной Романовной Изрядновой, сблизился с ней, по примеру ее и совету записался вольнослушателем в народный университет им. А. Л. Шанявского (1913). В 1914 году Анна родила от Есенина мальчика, названного по инициативе девятнадцатилетнего отца Юрием (погиб в период сталинских репрессий в середине тридцатых).

Университетская среда пришлась по вкусу «вчерашему жителю села», он много читает, дружески сходитя с такими же, как сам, жадными на ученье выходцами из крестьянского сословия, они-то и вводят Сергея в Суриковский музыкально-литературный кружок, деятельно и умело опекавший писателей из народа. Короче, времени даром не теряет, принимает даже участие в организационных хлопотах по созданию собственного журнала суриковцев «Друг народа»; там же публикует стихотворение «Узоры», годом ранее Есенина начал полегоньку печатать и еще один московский тонкий журнальчик для детей – «Мирок»; что же касается

серьезных толстых журналов, то они глухо молчат, хотя Сергей Александрович регулярно отправляет по элитарным редакциям подборки новых своих произведений. Однако усилия не эквивалентны результату: Москва, приютив честолюбивого провинциала, явно не спешит признать в нем оригинальный талант и упорно не выделяет среди начинающих «самородков». Однако Есенин слишком верит в себя, в свою «будущность» («я о своем таланте много знаю»), чтобы отступить и вернуться не солоно хлебавши в родные «рязани». Кроме того, едва осмотревшись, он быстrehонько сообразил: в Москве, бездушном буржуазном городе, «где люди большей частью волки из корысти» (из письма к деревенскому другу Грише Панфилову), не найдет ни истинных ценителей, ни просвещенных меценатов-издателей. В том же письме поэт признается товарищу ранних лет: «Думаю во что бы то ни стало удрать в Питер». Надо отдать должное интуиции сельского мечтателя: расчет на северную столицу был верным. В начале XX века именно Петербург, вопреки традиции, а не Москва, увлеченная пропагандой и усвоением художественных достижений Запада, становится своеобразным славянофильским центром. Однако и московское неозападничество, и петербургское неославянофильство, равно как и волна культурного подъема в крестьянстве (она-то и подняла на своем гребне и вынесла на гулкие улицы столиц крестьянских поэтов), – лишь разные стороны одного процесса. Промышленный бум конца века выдвигал Россию в мировые державы, а это не могло не стимулировать амбиций национального самосознания. Культурная Россия словно бы напряглась и замерла в ожидании Нового поэта, который, по предсказанию Блока, непременно найдет краски и слова для выражения смертной любви россиянина к бедной своей родине. Поэта, который неведомо каким – чудесным! – способом добудет затонувшее в недрах ее болот и суглинков «поющее золото». Блок не только предсказал неизбежность вспышки на русском литературном горизонте необычайной – новой и ослепительно яркой поэтической звезды. Он еще словно бы «отпортретировал», «назвал по имени» темы, сюжеты, ключевые образы лирики Есенина 1914–1915 гг. – провидчески, наперед, в знаменитом эссе 1906 года «Безвременье», то есть почти за десять лет до того, как они были созданы...

«Пляшет Русь под звуки длинной и унылой песни о безытности... Где-то вдали заливаются голос или колокольчик, и еще дальше, как рукавом, машут рябины, все обсыпанные ягодами. Нет ни времени, ни пространства на этом просторе. Однообразны канавы, заборы, избы, казенные винные лавки, не знающий, как быть со своим просторным весельем, народ, будто удалой запевало выводящий из хоровода девушку в красном сарафане. Лицо девушки вместе смеется и плачет. И рябина машет рукавом... Вот русская действительность – всюду, куда ни оглянешься, – даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний. Когда же наступит вечер и туманы оденут окрестность, даль станет еще прекраснее и еще недостижимее» (Блок, «Безвременье»).

И предположить невозможно, что знаменитое это эссе, так же как и написанное в том же эстетическом и эмоциональном регистре стихотворение Блока «Осенняя воля» (1905), прошло мимо внимания Есенина. Слишком пристально и ревниво следил он за творчеством их автора, очень уж прилежно учился у него «лиричности» («Блок и Клюев научили меня лиричности». «О себе», 1925). К тому же студенты народного университета старались быть в курсе свежих веяний, да и напечатано было «Безвременье» в журнале «Золотое руно» – дорогом, престижном, бережно, в особом библиотечном фонде хранимом (библиотека в университете им. А. Л. Шанявского была отменной). Во всяком случае, готовясь удрать в Питер и ломая для «Радунницы», первого своего сборника, прежнюю поэтику, ориентированную на вкусы преподавателя литературы в Спас-Клепиковском училище, Есенин, начиная с осени 1914 года, работает как бы по блоковскому «сценарию». Упорно, например, добивается впечатления синевы и шири (не пространства, а точь-в-точь как в «Осенней воле» – простора, «далее неоглядных»: «Скачет конь, простору много,/Валит снег и стелет шаль./Бесконечная дорога/Убегает лентой вдаль»); изобретает, словно прислушиваясь к урокам учителя, все новые и новые образы для выраже-

ния «щемящей тоски неисполнимых желаний»; тоска у него теперь, после заочной встречи с мастером Блоком, и «озерная», и «солончаковая», и «журавлиная»... Крайне изобретательно использует Есенин и открытый Блоком эффект взгляда сквозь утренний или вечерний туман («даль подернулась туманом...»), и счастливо найденное им же сравнение дерева с девушкой, взмахивающей рукавом (Блок: «Как рукавом, машут рябины»; Есенин: «Как метель, черемуха машет рукавом»). До того, как Есенин выбрал в мэтры Александра Блока, выработанный им план первого поэтического сборника был совсем иным, куда менее оригинальным. Московский его приятель литератор Д. Семеновский вспоминает, что еще летом 1914 года Сергей говорил: «Напишу книжку стихов под названием „Гармоника“. В ней будут отделы: „Тальянка“, „Ливенка“, „Черепашка“, „Венка“».

Вместо задуманной «Гармоники» Есенин написал «Радуницу», книгу, созданную под могучим влиянием, я бы даже сказала – внушением, очарованием молодого Блока, Блока поры «Осенней воли» и знаменитого эссеистского триптиха: «Краски и слова», «Девушка розовой калитки и муравьиный царь», «Безвременье».

Согласитесь, с такою вот подготовкой у рязанского самородка были весьма серьезные основания не только прийти к Александру Блоку без приглашения, но и надеяться, что знаменитый поэт примет участие в его судьбе. Согласно легенде, Есенин так и сделал: приехав в Петербург, прямо с вокзала, в нагольном тулупчике заявился в строгий и высокий дом «у морских ворот Невы» и тут же, с порога, вручил хозяину стихи, написанные на отдельных листочках и упакованные чуть ли не в деревенский платок узелком. В действительности по дороге с вокзала Есенин оставил Блоку записку: приду-де в четыре часа и по важному делу, а одет был обыкновенно – в приличный городской костюм, купленный в магазине готового платья (так одевались в ту пору хорошо зарабатывающие молодые рабочие).

Блок встретил московского гостя вежливо, но официально, выслушал, впрочем, внимательно, день визита – 9 марта 1915 года – отметил для памяти в Дневнике: «Днем у меня рязанский парень со стихами... Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные...» А вот предсказанного им же самим нового поэта с «новой свежестью зренья» в талантливом самородке, увы, не узнал... Да он бы и себя не узнал – прежнего, молодого и дерзкого, ежели б «встретил на глади зеркальной». Того, о котором Анна Андреевна Ахматова чуть не через полвека скажет: «И помнит Рогачевское шоссе разбойный посвист молодого Блока» (*Рогачевское шоссе* – авторская пометка к стихотворению «Осенняя воля»). За десять лет и Блок переменялся, и Россия стала другой: роковой 1914-й стер с лица земли его сказочно-прекрасную *необычайную Русь*... Блок в марте 1915-го это: «Петроградское небо мутилось дождем, на войну уходил эшелон»... Придавленное мутным и тяжелым небом, обезголосело в недрах народной души певчее золото, а в далях неоглядных обесцветилась, выцвела русская синь...

Однако ж и оставлять на улице подающих надежды молодых людей – не в правилах Александра Александровича, и он переправил, с соответствующей рекомендацией, сочинителя *голосистых стихов* к Сергею Городецкому, тоже поэту и художнику-любителю, а через месяц на просьбу «рязанского парня» о новой встрече ответил отказом: дескать, видаться нам не стоит, мне, мол, даже думать *про ваше* трудно. Холодную отчужденность Блока и самый воздух его замкнутого дома Есенин истолковал как «снисходительность дворянства», и был не так уж сильно несправедлив: в процитированную выше дневниковую запись от 9 марта Александр Александрович внес еще и реплику жены Любови Дмитриевны, дочери создателя «Таблицы Менделеева», брошенную вслед непрошеному гостю: «Народ талантливый, но жулик». Дворянская снисходительность четы Блоков ранила Есенина столь глубоко, что рана эта не стала *былой* и не *улеглась* до самого смертного часа...

Зато Сергей Городецкий встретил рязанца восторженно. В ту пору в его маленьком ателье регулярно собирались питерские интеллигенты, увлекавшиеся наивным народным искусством; стык их собственных литературных мечтаний с поэтическими голосами, рожденными

русской деревней, представлялся этим эстетам праздником какого-то нового народничества, а так как самым народным «голосом» в их специфической среде считался стремительно входящий в моду Николай Клюев, новоприбывшего тут же зачислили в подголоски к хранителю и охранителю северной старины. Весной 1915-го Клюева в столице не было, Есенин, по совету Городецкого, отправил ему в Вытегру саморекомендательное письмо: пишу, дескать, как и вы, только на рязанском языке. Клюев откликнулся, завязалась переписка, и с осени того же года народный златоуст (роль Клюева) и народный златоцвет (амплуа Есенина) на всех неонароднических вечерах и посиделках выступают неразлучной парой. В странных их отношениях было много тяжелого, однако, по-видимому, все-таки именно к Клюеву обращено предсмертное послание Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья...». Да и начало дружбы-вражды запомнилось лучезарным: «Тогда в веселом шуме/Игривых дум и сил/Апостол нежный Клюев/Нас на руках носил»...

Не без помощи Клюева (у «нежного апостола» были связи в придворных кругах) Есенину удалось избежать отправки в действующую армию, его пристроили санитаром в Царскосельский лазарет, который патронировала сама императрица.

Словом, несмотря на войну, дела у народного златоцвета шли как нельзя лучше: его нарасхват печатали, без него не обходилось ни одно из поэтических мероприятий, вот только отдельной книги, для которой он уже год как придумал красивое имя «Радуница», пока не было. Все обещали, старались, а потом конфузливо разводили руками: дескать, разруха... Наконец, и опять-таки с подачи Клюева, отыскался меценат-издатель богатый купец Аверьянов, и 1 февраля 1916 года «Радуница» вышла в свет. Тираж (3 тыс. экз., по тем временам огромный) поначалу расходился плохо, меценат хмурился, но практическая сторона ничуть не беспокоила юного автора. Книга, дававшая бессрочный пропуск на русский поэтический Парнас, была у него в руках, и он бросился одаривать своей радостью-«Радуницей» всех, кого уважал за талант: Горького, Алексея Толстого, Репина, Леонида Андреева...

Между тем положение на русско-германском фронте становилось все напряженнее, лазаретную команду расформировали, Есенина (приказом от 23 февраля 1917 г.) направили в Могилев, в действующий пехотный полк, через четыре дня грянул февральский переворот, в середине марта рядовой Есенин вернулся в Петроград, получил направление в Школу прапорщиков, но по назначению не прибыл. Герой «Анны Снегиной», во многом *альтер эго* автора, объясняет этот поступок фактически, может быть, и неверно, но по существу, видимо, достаточно точно: «Свобода взметнулась неистово./И в розово-смердном огне/Тогда над странюю калифствовал/Керенский на белом коне./»Война до конца», «до победы».../И ту же сермяжную рать/Прохвосты и дармоеды/Сгоняли на фронт умирать./Но все же не взял я шпагу.../Под грохот и рев мортир/Другую явил я отвагу —/Был первый в стране дезертир».

Не меньшую отвагу проявил Есенин в сражениях за поэтическое первенство, развернувшихся на столичном литфронте в связи с новой, постреволюционной расстановкой политических и всяких прочих сил. Несмотря на ироническое отношение к главе Временного правительства (калиф на час) и презрение к окружавшим Керенского «прохвостам и дармоедам», Февральскую революцию Есенин принял сочувственно, ибо верил, что, освободившись от самодержавной «крепости», Россия станет Великой Крестьянской республикой. А коли так, значит, и он, ее певец, пророк и глашатай, по праву претендует на роль первого поэта современности. Опыренный «февральской метелью», Есенин, по свидетельству очевидцев, даже внешне переменился, сбросил, словно лягушечью кожу, и тихость «ласкового послушника», и улыбочивость «вербного херувима»: «Надо было видеть его в те годы. Ему было тесно и не по себе, он исходил песенной силой, кружился в творческом неугомоне. В нем развязались какие-то скрепы, спадали какие-то обручи. Из него ключом била мужицкая стихия, разбойная удаль. С обезумевшим взглядом, с разметающимся золотом волос, широко размахивая руками, в бес-

памятстве восторга декламировал он свою замечательную „Инонию“ (В. Полонский, „Памяти Есенина“).

Полагая, что наконец-то пришло его время, Есенин меняет и стиль личной жизни: женится в июле 1917 года (венчается в церкви) на Зинаиде Николаевне Райх, красивой и энергичной девушке из трудовой провинциальной семьи. Да, он влюблен, но дело не столько в эмоциях, сколько в осознанной необходимости остепениться: негоже первому поэту обновленной России слыть бездомником и бродягой! Впервые в жизни снимает приличную квартиру, радуется рождению дочери (июнь 1918), дает ей как продолжательнице рода по женской линии имя матери: Татьяна. (Второй его ребенок от Зинаиды Райх родился уже после их разрыва, в марте 1920-го, однако и имя сыну выбрано не случайно, а по месту рождения отца: Константин – Константиново.)

«Замечательная» «Инония» – центральная часть грандиозного замысла. За неполные два года Есенин, почти забросив лирику, написал цикл маленьких поэм: «Певущий зов», «Отчарь», «Октоих», «Пришествие», «Преображение», «Сельский часослов», «Иорданская голубица», «Небесный барабанщик», «Пантократор». Поэмный цикл 1917–1919 годов (практически целая книга из отдельных поэм) – создание небывалое, дерзко-новаторское. Это как бы и Новый Завет новой мужицкой веры, и языческие игрища в честь телицы-Руси, «отелившейся» «в наш русский кров» новым солнцем, и своеобразная «философическая» эпопея, где с поразительной изобретательностью разыграны и одеты в плоть образов фольклорные представления о «назначении человека». Главная мысль цикла сформулирована уже в «Певущем зове»:

Не губить пришли мы в мире, а любить и верить!

Лев Троцкий в знаменитом сборнике «Памяти Есенина» (1926) утверждал: Есенин погиб потому, что был «несроден революции». Маленькие поэмы 1917–1919 гг. опровергают это утверждение. Ни одно из созданных в те годы поэтических произведений, включая «Двенадцать» Блока, не может соперничать с ними, во всяком случае, по части органического сродства с мужицкой стихией, разбухенной эпохой революций. Недаром сам Есенин считал год 1919-й, год их завершения, лучшей порой своей жизни.

И вдруг, словно по причине гигантского тектонического толчка, удивительное построение рухнуло, и Есенин уже не пророчествует, как в «Инонии» («Так говорит по Библии/Пророк Есенин Сергей»), а ерничает и хулиганит на обломках им же возведенного храма – памятника буйственной Руси:

О, кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов?
Посмотрите, у женщин третий
Вылупляется глаз из пупа.

Вот он! Вылез, глядит луной,
Не увидит ли помясистей кости.
Видно, в смех над самим собой
Пел я песнь о чудесной гостье.

Итак: первые годы революции – лучшая пора жизни, и сама революция – «чудесная гостья», а в конце 1920-го Есенин, подводя итоги тяжелейшего кризиса, пишет своему идейному наставнику, критику эсеровской ориентации Р. В. Иванову-Разумнику: «...Я потерял... все то, что радовало меня раньше от моего здоровья».

Что же случилось с ним в эти месяцы?

Во-первых, вместе с правительственным учреждением, где секретарствовала Зинаида Николаевна, Есенин переехал в Москву и с удивлением обнаружил, что здесь его никто практически не знает; Москве нужно было доказывать, что он «знаменитый русский поэт», а не подголосок Клюева. Сделать это в одиночку, без поддержки единомышленников Есенин, избалованный опекой питерских литераторов, разумеется, не мог, и тут судьба, как лукавая сводня, подстроила случайную встречу с Анатолием Мариенгофом. Мариенгоф, недавно прибывший из Пензы, поразил Есенина: этот долговязый франт помнил наизусть чуть ли не все его стихи! Больше того, сам изобретал образы, почти похожие на есенинские, правда, называл их иначе, на французский лад: имажи. Чтобы не пропасть поодиночке, решили объединиться с еще одним коллекционером поэтических метафор – Вадимом Шершеневичем.

Вадим Габриэлович Шершеневич, посредственный поэт, но опытный и ловкий литератор, немедленно перевел полумальчишескую игру в имажи на солидные рельсы. Учредившись и сочинив хлесткую «Декларацию», магистры Великого Ордена имажинистов не мешкая занялись делом: организовали свое издательство, свою книжную лавку, собственный журнал («Гостиница для путешествующих в прекрасном») и, что самое важное, литературное кафе – с завлекательным названием «Стойло Пегаса» и на бойком месте (Тверская, неподалеку от нынешней Пушкинской площади).

В житейском плане на первых порах, казалось бы, противоестественный, удививший многих его сторонников альянс народного златоцвета с имажинистами вполне его устраивал. И это более чем понятно: шумно и беззастенчиво рекламируя себя, магистры «раскручивали» неизвестного в Москве Есенина. К тому же «Стойло Пегаса» приносило небольшой, но верный доход, а деньги Сергею Александровичу были нужны позарез. Кроме того, подписывая «Декларацию», он верил, что не теряет, а находит себя, и именно в творческом плане, ведь, по его теории, первым русским имажинистом был не кто иной, как автор «Слова о полку Игореве». Даже выйдя из Ордена, точнее, объявив – через заявление в газете «Правда» – группу распущенной (в августе 1924 года), Есенин продолжал считать себя имажинистом: «Не я выдумал этот образ, он был и есть основа русского духа и глаза, но я первый развил его и положил основным камнем в своих стихах». Но это в теории, а на практике лидерствовал Шершеневич, что не могло не задевать самолюбие истинного, природного имажиниста. И дело было не только, как выражался Есенин, «в ущемлении первенством». Имажинизм по Шершеневичу не устраивал его по самой строчечной сути, он считал его механическим, мертворожденным, не имеющим ничего общего с органической фигуральностью русского языка и русской поэзии. Не пошел впрок Есенину и сложившийся в имажинистской среде грубо-богемный стиль бытового поведения. В «Стойле Пегаса» не только всю ночь напролет до зари читали стихи, здесь «хорошо» и «со вкусом» пили-гуляли и водку подносили Есенину безотказно. Как гонорар за выступления, которые делали главные сборы... Впрочем, много и со вкусом пили – правда, не водку – и в окружении Айседоры Дункан, с которой Есенина познакомили осенью 1921 года, вскоре после ее экстравагантного приезда в ярко-красную Россию.

Знаменитая балерина и «изумительный рязанский поэт» (М. Горький) влюбились друг в друга с первого взгляда. Есенина в «Изадоре» восхитила и пленила «имажность» – артистичность «самой высокой и лучшей марки». Да и чувством «гениальной босоножки» к «ласковому урусу» верховодили не только поздняя страсть и настырная ревность избалованной женщины, стремительно теряющей свою легендарную грацию и красоту... Были и нежность, которую «ни с чем не спутаешь», и щедрость, и суеверное изумление, и суеверная вечная тревога: белокурой своей кудрявостью и еще чем-то, неуловимым и несказанным, Есенин напоминал – и как бы заменял! – безутешной матери трагически погибшего сына... Не зная, чем развлечь возлюбленного, чем излечить от «злой грусти», а грусть день ото дня становилась все злей и

безнадежней, Дункан решила подарить ему целый мир. Перед отъездом, дабы не шокировать людское предубеждение, они даже расписались в советском загсе.

Вне России Есенин прожил больше года – с мая 1922 по август 1923-го. Четырнадцать заграничных месяцев оказалось более чем достаточно, чтобы понять: и заморская жар-птица (как называл Айседору Дункан Б. Пастернак), и хваленое ее зарубежье ни капельки ему не нужны, хотя как законный супруг балерины с мировой славой он мог без всякого труда осесть в эмиграции, среди бывших своих соотечественников... Короче, вопреки надеждам «Изадоры» развлекательное – галопом по Европам с заездом в Северную Америку – турне душевного здоровья Сергею Александровичу не прибавило. Вообще-то настоящего крепкого, железного душевного здоровья у Есенина не было даже смолodu. В юности отец даже собирался везти сына к психиатру, но его успокоили: пройдет, мол, с годами. Увы, не прошло: в житейскую «стынь» врожденная, видимо, неуравновешенность начинала прогрессировать... Однако не только этими достаточно распространенными особенностями психики Есенина объясняется его душевный кризис 20-го года...

Той весной Сергей Есенин на пару с Анатолием Мариенгофом после невероятно голодной и холодной зимы решили проветриться-прокатиться по издательской якобы надобности в Харьков, благо у земляка «милого Толи», вышедшего в крупные чиновники, имелся собственный спецвагон. Ехали, правда, хоть и со всеми удобствами, но малой скоростью, и Есенин впервые в жизни увидел не на расстоянии, а вблизи, почти лицом к лицу мужицкий бунт:

И в ответ партийной команде
За налоги на крестьянский труд
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.
И кого упрекнуть нам можно?
Кто сумеет закрыть окно,
Чтоб не видеть, как свора острожная
И крестьянство так любят Махно?

И это не единственный сюрприз, преподнесенный певцу и глашатаю мужицкой правды страшной новью 1920 года... Пророческий образ, обращенный к повелителям новой жизни

Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего,

– возник в поэме «Кобыльи корабли» еще до поездки в Харьков. В Харькове отрубленные руки Есенин увидел воочию. Отловленных в степях Украины мятежников привозили в пыточные камеры здешней «лубянки», стоявшей на краю глубокого оврага, изувеченные пытками трупы сбрасывали в этот страшный овраг прямо из окон. Все выше сказанное изображено в поэме Велемира Хлебникова «Председатель чеки» (написана после возвращения имажинистов в Москву, но о событиях, предшествующих их приезду). Напоминаю: Есенин прибыл в Харьков весной, когда зловеющий овраг стал оттаивать... А в августе того же года Сергей Александрович отослал молоденькой дочери приютившего имажинистов харьковчанина такое письмо:

«Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал... Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений... всегда ведь бывает жаль, если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают...»

Вернувшись из Харькова, Сергей Александрович, не мешкая, не дожидаясь июньской теплыни, кинулся в родную деревню. Картина, которую он там застал, была удручающей. Торговля прекратилась. Нет ни спичек, ни керосина, ни ниток-игловок. Вместо хлеба – мякина, щавель, крапива и лебеда... А в придачу эпидемии: у людей – сыпной тиф. У скотины – сибирская язва. Предчувствие не обмануло Есенина:

Будут глад и мор...

Мариенгоф, провожая друга, предрек, что на этот раз Сергей на родине ничего не напишет. И ошибся. Во-первых, Есенин создал второй вариант «Кобылих кораблей», где судьбоносный Октябрь, с которым было связано столько надежд, назван «злым». Во-вторых, написал стихотворение «Я последний поэт деревни». Словно сам себе заказал панихиду и по вымирающей деревянной Руси, и по великой земледельческой культуре, и по себе, еще живому, но уже понимающему, что его время – миновало:

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить...

В том же переломном 1920-м Есенин напишет трагический «Сорокоуст», где продолжит тему гибели крестьянского мира:

Только мне как псаломщику петь
Над родимой страной аллилуйя...

В те же месяцы тяжких раздумий о судьбе своего «отчаря»-мужика возникает и замысел поэмы о Пугачеве, о роковой обреченности русского бунта (окончена осенью следующего, 1921-го).

Невероятно трагичны и частные письма поэта тех смутных переломных лет. Особенно «заграничные». Вопреки надеждам Айседоры, заграничное турне (хотя она не жалела денег, продала даже мебель из своего парижского ателье, чтобы ее юный супруг мог жить в самых шикарных отелях и кутить в самых фешенебельных ресторанах) не вылечило Есенина от злой тоски.

Москва, декабрь 1921-го, Н. А. Клюеву:

«Душа моя устала и смущена от самого себя и происходящего. Нет тех знаков, которыми бы можно было передать все, чем мыслю и отчего болею...»

Москва, март 1922-го, Иванову-Разумнику:

«В Москве себя я чувствую отвратительно. Безлюдье полное...»

Дюссельдорф, июль 1922-го, А. М. Сахарову:

«Взвейтесь, кони! Неси, мой ямщик... Матушка, пожалей своего бедного сына...» И приписка: «...лучше б... повеситься...»

Париж, весна 1923-го, А. Б. Мариенгофу:

«Господи! даже повеситься можно от такого одиночества. Ах, какое поганое время...»

В Россию Есенин вернулся в августе 1923 года, и на него тут же обрушилась масса бытовых, и не только бытовых, проблем. За четырнадцать месяцев официального брака с «заморской жар-птицей» он смертельно устал: и от жадной ее последней любви, и от властной ревности.

сти, а пуще всего от унижительного для крестьянского сына и внука житья «на женин счет». Надо бежать! А бежать некуда... В комнате, которую Есенин когда-то купил на паях с Мариенгофом, появились еще три жильца: жена Мариенгофа, теща и новорожденный сын. Приобрести же другое жилье или хотя бы снять что-нибудь приличное, а не угол за занавеской, не на что. В прежние годы при жилищных затруднениях Сергей Александрович обычно удирал в Константиново, в год возвращения и этого, запасного выхода уже не было: в августе 1922-го почти полностью выгорело отчее село, сгорел и родительский дом.

Отчаявшись обрести крышу над головой, Есенин обратился в правительство, написал прошение – на имя Троцкого: согласен-де на любую жилплощадь. Есенину не отказали – ему просто ничего не ответили. Выручила Галина Бениславская (у нее, штатного сотрудника массовой газеты «Беднота», была комната в ведомственной коммуналке). Эта незаурядная девушка оказалась в ближайшем окружении Есенина еще до его романа с Дункан и безоглядно в него влюбилась. И хоть Сергей Александрович ничего ей, как говорится, не обещал, потому что, ценя как друга и «большую заботницу», не любил «как женщину», Галина Артуровна взяла на себя и секретарские обязанности, и домашние хлопоты, и заботы, причем не только о нем самом, но и о его сестрах, сначала старшей Екатерине, а потом и младшей – Александре. Некоторые биографы называют союз Есенина и Бениславской гражданским браком. На самом деле отношения были и тоньше, и мучительнее, причем для обеих сторон. Бремя, которое сгоряча взвалила на свои худенькие плечи «сестра и друг», становилось порой непосильным – ведь Галина любила Есенина совсем не по-сестрински. Чтобы обуздать и горе, и гордость, она завела себе серьезного поклонника, отношения с которым были отнюдь не платоническими. Узнав об этом, Есенин растерялся. Человек в высшей степени естественный, он мог понять, а следовательно, и извинить «физическую измену» по страсти. Неверность по расчету была вне его разума. Нет-нет, он не взревновал, он обиделся – навзрыд, до безрассудства. Забрал сестер, носильные вещи, рукописи и назло женился на внучке Толстого Софье Андреевне. Вообще-то жениться всерьез он, судя по всему, все-таки не собирался да и не мог это сделать чисто формально, так как по документам продолжал числиться законным супругом Айседоры Дункан. Но мать Сони, невестка Льва Толстого, не сочла регистрацию в советском загсе серьезным препятствием... В результате Сергей Александрович неожиданно для себя оказался двоеженцем... Бениславская через год после гибели Сергея Александровича покончила с собой на его могиле. В состоянии тяжелой депрессии. Не выдержав последнего унижения: законная вдова сделала все, чтобы отнять у незаконной спутницы единственное, что могло бы заставить ее жить на земле, на которой больше не было ее Сергея, – право на заботу о сохранности рукописей, хотя что-то, а роль литературного секретаря Галина Артуровна исполняла безупречно с того самого дня, как (в сентябре 1923 года) Есенин перебрался вместе с нехитрым скарбом в коммунальное ее жилище, и была в курсе всех его литературных дел. Однако Софья Андреевна отстранила «соперницу» даже от консультации при доработке четырехтомного Собрания сочинений, затеянного еще при жизни поэта, а вышедшего после его смерти...

В сентябре 1924-го Есенин надолго уехал в Грузию. В ту осень резко обострилась борьба, фактически война на истребление, которую вот уже несколько лет с переменным успехом вели идеологи новой власти с не поддающейся перековке русской литературой. Пролеткульты, правда, все-таки распустили, но пролеткультовский дух оказался неистребимым: его унаследовали и МАПП, и РАПП, окопавшиеся в двух суперпролетарских журналах – «Октябре» и «На посту». Василий Наседкин, поэт и жених сестры Есенина Екатерины, вспоминает, что Сергей Александрович, обычно старавшийся в ту пору не афишировать своих литературных взглядов, попав как-то на поэтический вечер, где выступали главным образом «мапповцы» (члены Московской ассоциации пролетарских писателей), его и пригласила туда знакомая хорошенькая «мапповка», не дослушав выступления известного в этих кругах поэта, ушел – «нервно, решительно, молча, даже не попрощавшись со своей спутницей». О том, что эта реакция не

случайность, свидетельствует первое же его письмо к сестре, написанное сразу по приезде в Тифлис, 17 сентября 1924 года:

«Узнай, как вышло дело с Воронским. Мне страшно будет неприятно, если напостовцы его съедят. Это значит тогда бей в барабан и открывай лавочку. По линии (имеется в виду пролетарская линия. – А. М.) писать абсолютно невозможно. Будет такая тоска, что волки сдохнут».

Все теснее и теснее становилось творческой живой личности в том барачном доме, который не тот социализм засучив рукава спешно строил на месте золотой заповедной бревенчатой избы... Вот тут-то злая грусть и обернулась смертной тоской, которая в конце концов и затянула на певческом горле роковую удавку... Его первый петербургский опекун и гид Сергей Городецкий, видимо, лучше других понял причину и природу этой опасной для жизни болезни: по его словам, Есенин был смертельно ранен советской деревней. И дело, конечно, не только в обиде за задавленного налогами и продразверсткой мужика. Это горе все не горе... Истинное горе нагрянуло оттуда, откуда беды никто вроде бы и не ждал.

Зачастив после возвращения из-за границы в родное село Константиново (родители начали строить новый дом, и он, как старший сын, считал себя обязанным помочь своим старикам), Есенин с тревогой убеждался: власть на земле забирают в ухватистые, но бестолковые руки бездельники и негодяи. Один такой новый советский выведен в поэме «Анна Снегина» (1925) под именем Лабутия и наделен убийственной характеристикой: «мужик что твой пятый туз» (пятый туз – шулерская карта в колоде).

Однако мы несколько опередили события: до тысяча девятьсот двадцать пятого года, последнего земного года Сергея Есенина, еще далеко, и от рокового шага – самоубийства в ленинградской гостинице «Англетер» его отделяет последняя отчаянная попытка сломать себя, решиться на еще одно «перестроение», чтобы избавиться от унижительного амплуа – попутчик, чтобы стать настоящим, а «не сводным сыном в Великих Штатах СССР». Есенин называет эту последнюю попытку военным словом «прорыв» («Путь мой сейчас, конечно, очень извилист, но это прорыв...»). И он действительно почти прорывается, создав в 1924 году несколько вполне лояльных по отношению к власти негодяев вещей: «Песнь о Великом походе», «Балладу о двадцати шести», «Поэму о 36».

Нет-нет, он вовсе не подлаживается под общий тон. Ему действительно померещилось, будто сможет отдать строителям нового мира не только лиру, но и душу. Пример главного соперника – Маяковского, наступившего из высших государственных соображений на горло собственной песне, все-таки, видимо, впечатлял. Но чтобы прорваться всерьез, надо было создать произведение не просто лояльное, но и художественно значительное, и Есенин, удрав на Кавказ, принимается за «Анну Снегину»...

Вместо истинно революционной поэмы о славной советской нови получилась хроника гибели веками стоявшего крестьянского мира. Сам Есенин этого пока почему-то не понимает, даже не перебелив текст, спешит в Москву в полной уверенности, что теперь-то с него снимут унижительную метку: попутчик...

Первое публичное чтение «Анны Снегиной» состоялось весной 1925 года в Москве в Доме Герцена и кончилось провалом. Совэксперты, заседавшие в президиуме, о прочитанном отозвались с холодком. Еще равнодушнее отреагировала пресса: за полгода – всего несколько беглых и невыразительных фраз в провинциальных изданиях... Неужели досадная случайность? Вряд ли. Контрреволюция – не как убеждение, а как состояние – сидела в Есенине глубже, чем его внешняя эмоциональная революционность. Они даже как-то сосуществовали. И. Оксенов, к примеру, запомнил, что в апреле 1924 года, то есть именно тогда, когда Есенин отдавал в печать просоветские поэмы и революционную балладу, на, казалось бы, бытовой вопрос, часто ли ездит на родину и видится ли с родителями, ответил: «Мне тяжело с ними. Отец сядет под дерево, а я чувствую всю трагедию, которая произошла с Россией...»

Чувство трагедии, которая произошла с Россией, – нерв «Анны Снегиной», и критика это сразу своим безошибочно классовым чутьем угадала. А вот Есенин понял смысл того, что он написал в «прекраснейшей поэме», лишь несколько месяцев спустя...

Итак, на дворе год 1925-й. Безумного Капитана Земли нет в живых, но сконструированный им Корабль пролетарского социализма под управлением Великого Кормчего все упорнее и упорнее гребется в грядущее, по ватерлинию в человеческой крови...

«Не тот социализм», утесняя таинственный и древний мир крестьянской жизни, вытеснял глашатая несостоявшейся Великой земледельческой республики в «узкий промежуток» частной жизни:

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне...

Того, что и эта часть его судьбы, преображенная в пленительные стихи, станет национальной святыней, Есенин, конечно, и предположить не мог... И проводив отчалившую в небытие Голубую Русь, эмигрировал из несбывшейся Инонии, страны, текущей молоком и медом, в Русь Бесприютную:

Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином...

А вскоре и вообще ушел «в ту страну, где тишь и благодать». Отлетел, как пушкинский Моцарт, «с земли на незримую сушу», так и не отдав заветной лиры ни современникам, орущим агитки бедного Демьяна, ни ближайшим потомкам, читавшим тайком его кабацкие запретные стихи. Ибо лира уже была завещана грядущим поколениям, тем, кому придется восстанавливать – взорванное, оболганное, но, кажется, еще живое...

Алла Марченко

Лирика

*Был у нас в селе праведный человек, отец Иван. Он мне и говорит:
«Татьяна, твой сын отмечен Богом».*

Татьяна Федоровна Есенина

* * *

Вот уж вечер. Роса
Блестит на крапиве.
Я стою у дороги,
Прислонившись к иве.

От луны свет большой
Прямо на нашу крышу.
Где-то песнь соловья
Вдалеке я слышу.

Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.

И вдали за рекой,
Видно, за опушкой,
Сонный сторож стучит
Мертвой колотушкой.

1910

* * *

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

1910

Калики

Проходили калики деревнями,
Выпивали под окнами квасу,
У церкви пред затворами древними
Поклонялись Пречистому Спасу.

Пробирались странники по полю,
Пели стих о сладчайшем Исусе.
Мимо клячи с поклажею топали,
Подпевали горластые гуси.

Ковыляли убогие по стаду,
Говорили страдальные речи:
«Все единому служим мы Господу,
Возлагая вериги на плечи».

Вынимали калики поспешливо
Для коров сбереженные крохи.
И кричали пастушки насмешливо:
«Девки, в пляску. Идут скоморохи».

1910

* * *

Поет зима – аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.

А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.

Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильнее.

И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна.

1910

* * *

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется – на душе светло.
Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.
Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет.
Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.
И пускай со звонами плачут глухари.
Есть тоска веселая в алостях зари.

1910

* * *

Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой вы, луга и дубравы, —
Я одурманен весной.

Радугой тайные вести
Светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
Только о ней лишь пою.

Сыпь ты, черемуха, снегом,
Пойте вы, птахи, в лесу.
По полю зыбистым бегом

Пеной я цвет разнесу.

1910

Подражание песне

Ты поила коня из горстей в поводу,
Отражаясь, березы ломались в пруду.
Я смотрел из окошка на синий платок,
Кудри черные змейно трепал ветерок.
Мне хотелось в мерцании пенистых струй
С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй.
Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня,
Унеслася ты вскачь, удилами звеня.
В пряже солнечных дней время выткало нить...
Мимо окон тебя понесли хоронить.
И под плач панихид, под кадильный канон
Все мне чудился тихий раскованный звон.

1910

* * *

Дымом половодье
Зализало ил.
Желтые поводья
Месяц уронил.

Еду на баркасе.
Тычусь в берега.
Церквами у прясел
Рыжие стога.

Заунывным карком
В тишину болот
Черная глухарка
К всеобщей зовет.

Роща синим мраком
Кроет голытьбу...
Помолюсь украдкой
За твою судьбу.

1910

* * *

Хороша была Танюша, краше не было в селе,

Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.
У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру.
Месяц в облачном тумане водит с тучами игру.
Вышел парень, поклонился кучерявой головой:
«Ты прощай ли, моя радость, я женюсь на другой».
Побледнела, словно саван, схолodelа, как роса.
Душегубкою-змеею развилаcь ее коса.
«Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу,
Я пришла тебе сказаться: за другого выхожу».
Не заутренние звоны, а венчальный переклик,
Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик.
Не кукушки загрустили – плачет Танина родня,
На виске у Тани рана от лихого кистеня.
Алым венчиком кровинки запеклися на челе,
Хороша была Танюша, краше не было в селе.

1911

* * *

Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Выходи встречать к околице, красотка, жениха.
Васильками сердце светится, горит в нем бирюза.
Я играю на тальяночке про синие глаза.
То не зори в струях озера свой выткали узор,
Твой платок, шитьем украшенный, мелькнул за косогор.
Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Пусть послушает красавица прибаски жениха.

1912

* * *

Матушка в купальницу по лесу ходила,
Босая с подтыками по росе бродила.
Травы ворожбиные ноги ей кололи,
Плакала родимая в купырях от боли.
Не дознамо печени судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.
Родился я с песнями в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали.
Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне пророчит.
Только не по совести счастье наготове,
Выбираю удалю и глаза и брови.
Как снежинка белая, в просини я таю
Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.

1912

Береза

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

<<1913>>

* * *

На небесном синем блюде
Желтых туч медовый дым.
Грезит ночь. Уснули люди,
Только я тоской томим.

Облаками перекрещен,
Сладкий дым вдыхает бор.
За кольцо небесных трещин
Тянет пальцы косогор.

На болоте кричет цапля;
Четко хлупает вода,
И из туч глядит, как капля,
Одинокая звезда.

Я хотел бы в мутном дыме
Той звезды поджечь леса
И погинуть вместе с ними,
Как зарница в небеса.

1913 или 1914

Пороша

Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалась сосна.

Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.

Скачет конь, простору много,
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.

<<1914>>

С добрым утром!

Задремали звезды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы.

У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»

<<1914>>

* * *

Зашумели над затоном тростники.
Плачет девушка-царевна у реки.

Погадала красна девица в семик.
Расплела волна венки из повилик.

Ах, не выйти в жены девушке весной,
Запугал ее приметами лесной.

На березке пообъедена кора —
Выживают мыши девушку с двора.

Бьются кони, грозно машут головой, —
Ой, не любит черны косы домовой.

Запах ладана от рощи ели льют,
Звонки ветры панихидную поют.

Ходит девушка по бережку грустна,
Ткет ей саван нежнопенная волна.

1914

В хате

Пахнет рыхлыми драченами,
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.

Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою —
Шелуха сырых яиц.

Мать с ухватами не сладится,
Нагибается низко,
Старый кот к махотке крадется
На парное молоко.

Квохчут куры беспокойные
Над оглоблями сохи,
На дворе обедню стройную
Запевают петухи.

А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.

1914

* * *

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

По меже на переметке
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы, кроткие монашки.

Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле.
С тихой тайной для кого-то
Затаил я в сердце мысли.

Все встречаю, всю приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

1914

* * *

Пойду в скуфье смиренным иноком
Иль белокрысым босяком
Туда, где льется по равнинам
Березовое молоко.

Хочу концы земли измерить,
Доверясь призрачной звезде,
И в счастье ближнего поверить
В звенящей рожью борозде.

Рассвет рукой прохлады росной
Сшибает яблоки зари.
Сгребая сено на покосах,
Поют мне песни косари.

Глядя за кольца лычных прясел,
Я говорю с самим собой:
Счастлив, кто жизнь свою украсил
Бродяжной палкой и сумой.

Счастлив, кто в радости убогой,
Живя без друга и врага,
Пройдет проселочной дорогой,
Молясь на копны и стога.

<<1914–1922>>

* * *

Я – пастух, мои палаты —
Межи зыбистых полей.
По горам зеленым – скаты
С гарком гулких дупелей.

Вяжут кружево над лесом
В желтой пене облака.
В тихой дреме под навесом
Слышу шепот сосняка.

Святят зелено в сутёмы
Под росую тополя.
Я – пастух; мои хоромы —
В мягкой зелени поля.

Говорят со мной коровы
На кивливом языке.
Духовитые дубровы
Кличут ветками к реке.

Позабыв людское горе,
Сплю на вырублях сучья.
Я молюсь на алы зори,
Причащаюсь у ручья.

1914

* * *

Черная, потом пропахшая выть!
Как мне тебя не ласкать, не любить.

Выйду на озеро в синюю гать,
К сердцу вечерняя льнет благодать.

Серым веретьем стоят шалаши,
Глухо баюкают хлюпь камыши.

Красный костер окровил таганы,
В хворосте белые веки луны.

Тихо, на корточках, в пятнах зари,
Слушают сказ старика косари.

Где-то вдали на кукане реки
Дремную песню поют рыбаки.

Оловом светится лужная голь...
Грустная песня, ты – русская боль.

1914

* * *

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...

Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех.
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

1914

* * *

Сторона ль моя, сторонка,
Горевая полоса.
Только лес, да посолонка,
Да заречная коса...

Чахнет старая церквушка,
В облака закинув крест.
И забольная кукушка
Не летит с печальных мест.

По тебе ль, моей сторонке,
В половодье каждый год
С подожочка и котомки
Богомольный льется пот.

Лица пыльны, загорелы,
Веки выглодала даль,
И впилась в худое тело
Спаса кроткого печаль.

1914

* * *

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь.
Сенокос некошенный,
Лес да монастырь.

Избы забоченились,
А и всех-то пять.
Крыши их запенились
В заревую гать.

Под соломой-ризую
Выструги стропил,
Ветер плесень сизую
Солнцем окропил.

В окна бьют без промаха
Вороны крылом,
Как метель, черемуха
Машет рукавом.

Уж не сказ ли в прутнике
Жисть твоя и быть,
Что под вечер путнику
Нашептал ковыль?

1914

* * *

Топи да болота,
Синий плат небес.
Хвойной позолотой
Взвенивает лес.

Тенькает синица
Меж лесных кудрей,
Темным елям снится
Гомон косарей.

По лугу со скрипом
Тянется обоз —
Суховатой липой
Пахнет от колес.

Слушают ракиты
Посвист ветряной...
Край ты мой забытый,
Край ты мой родной.

1914

Осень

Р. В. Иванову

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень, рыжая кобыла, чешет гриву.

Над речным покровом берегов
Слышен синий лягг ее подков.

Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу.

1914

* * *

Заглушила засуха засевки,
Сохнет рожь и не всходят овсы.
На молебен с хоругвями девки
Потащились в комлях полосы.

Собрались прихожане у чащи,
Лихоманную грусть затая.
Загузынил дьячишко ледащий:
«Спаси, Господи, люди твоя».

Открывались небесные двери,
Дьякон бавкнул из кряжистых сил:
«Еще молимся, братья, о вере,
Чтобы Бог нам поля оросил».

Заливались веселые птахи,
Крапал брызгами поп из горстей,
Стрекотуньи-сороки, как свахи,
Накликали дождливых гостей.

Зыбко пенились зори за рощей,
Как холстины ползли облака,
И туманно по быльнице тощей
Меж кустов ворковала река.

Скинув шапки, молясь и вздыхая,

Говорили промеж мужики:
«Колосилась-то ярь неплохая,
Да сгубили сухие деньки».

На коне – черной тучице в санках —
Билось пламя-шлея... синь и дрожь.
И кричали парнишки в еланках:
«Дождик, дождик, полей нашу рожь!»

1914

* * *

По селу тропинкой кривенькой
В летний вечер голубой
Рекрута ходили с ливенкой
Разухабистой гурьбой.

Распевали про любимые
Да последние деньки:
«Ты прощай, село родимое,
Темна роща и пеньки».

Зори пенились и таяли.
Все кричали, пяча грудь:
«До рекрутства горе маяли,
А теперь пора гульнуть».

Размахнув кудрями русыми,
В пляс пускались весело.
Девки брякали им бусами,
Зазывали за село.

Выходили парни бравые
За гуменные плетни.
А девчоночки лукавые
Убегали, – догони!

Над зелеными пригорками
Развевались платки.
По полям бредя с кошелками,
Улыбались старики.

По кустам, в траве над лыками,
Под пугливый возглас сов,
Им смеялась роща зыками
С переливом голосов.

По селу тропинкой кривенькой,
Ободравшись о пеньки,
Рекрута играли в ливенку
Про остальные деньки.

1914

* * *

Не ветры осыпают пущи,
Не листопад златит холмы.
С голубизны незримой кущи
Струятся звездные псалмы.

Я вижу – в просиничном плате,
На легкокрылых облаках,
Идет возлюбленная Мати
С Пречистым Сыном на руках.

Она несет для мира снова
Распятъ воскресшего Христа:
«Ходи, мой сын, живи без крова,
Зорюй и полднюй у куста».

И в каждом страннике убогом
Я визнавать пойду с тоской,
Не Помазуемый ли Богом
Стучит берестяной клюкой.

И может быть, пройду я мимо
И не замечу в тайный час,
Что в елях – крылья херувима,
А под пеньком – голодный Спас.

1914

* * *

Шел Господь пытатъ людей в любви,
Выходил он нищим на кулижку.
Старый дед на пне сухом в дуброве
Жамкал деснами зачерствелую пышку.
Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке, с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь, какой убогой, —
Знать, от голода качается, болезный».
Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:

Видно, мол, сердца их не разбудишь...
И сказал старик, протягивая руку:
«На, пожуй... маленько крепче будешь».

1914

* * *

Троицыно утро, утренний канон,
В роще по березкам белый перезвон.

Тянется деревня с праздничного сна,
В благовесте ветра хмельная весна.

На резных окошках ленты и кусты.
Я пойду к обедне плакать на цветы.

Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,
Похороним вместе молодость мою.

Троицыно утро, утренний канон.
В роще по березкам белый перезвон.

1914

* * *

Сохнет стаявшая глина,
На сугорьях гниль опенок.
Пляшет ветер по равнинам,
Рыжий ласковый осленок.

Пахнет вербой и смолою,
Синь то дремлет, то вздыхает.
У лесного аналая
Воробей псалтырь читает.

Прошлогодний лист в овраге
Средь кустов, как ворох меди.
Кто-то в солнечной сермяге
На осленке рыжем едет.

Прядь волос нежней кудели,
Но лицо его туманно.
Никнут сосны, никнут ели
И кричат ему: «Осанна!»

1914

* * *

Чую радуницу Божью —
Не напрасно я живу,
Поклоняюсь придорожью,
Припадаю на траву.

Между сосен, между елок,
Меж берез кудрявых бус,
Под венком, в кольцо иголок,
Мне мерещится Иус.

Он зовет меня в дубровы,
Как во царствие небес,
И горит в парче лиловой
Облаками крытый лес.

Голубиный дух от Бога,
Словно огненный язык,
Завладел моей дорогой,
Заглушил мой слабый крик.

Льется пламя в бездну зренья,
В сердце радость детских снов.
Я поверил от рожденья
В Богородицын покров.

1914

* * *

По дороге идут богомолки,
Под ногами полынь да комли.
Раздвигая щипульные колки,
На канавах звенят костыли.

Топчут лапти по полю кукольной,
Где-то ржанье и храп табуна,
И зовет их с большой колокольной
Гулкий звон, словно зык чугуна.

Отряхают старухи дулейки,
Вяжут девки косицы до пят.
Из подворья с высокой келейки

На платки их монахи глядят.

На вратах монастырские знаки:
«Упокою грядущих ко мне»,
А в саду разбrehались собаки,
Словно чуя воров на гумне.

Лижут сумерки золото солнца,
В дальних рощах аукает звон...
По тени от ветлы-веретенца
Богомолки идут на канон.

1914

* * *

На плетнях висят баранки,
Хлебной брагой льет теплынь.
Солнца струганные дранки
Загораживают синь.

Балаганы, пни и колья,
Карусельный пересвист.
От вихлистого приволья
Гнутся травы, мнется лист.

Дробь копыт и хрип торговок,
Пьяный пах медовых сот.
Берегись, коли не ловок:
Вихорь пылью разметет.

За лещужною сурьюмою —
Бабий крик, как поутру.
Не твоя ли шаль с каймою
Зеленеет по ветру?

Ой, удал и многосказен
Лад веселый на пыжну.
Запевай, как Стенька Разин
Утопил свою княжну.

Ты ли, Русь, тропой-дорогой
Разметала ал наряд?
Не суди молитвой строгой
Напоенный сердцем взгляд.

1915

* * *

Туча кружево в роще связала,
Закурился пахучий туман.
Еду грязной дорогой с вокзала
Вдалеке от родимых полян.

Лес застыл без печали и шума,
Виснет темь, как платок, за сосной.
Сердце гложет плакучая дума...
Ой, не весел ты, край мой родной.

Пригорюнились девушки-ели,
И поет мой ямщик наумяк:
«Я умру на тюремной постели,
Похоронят меня кое-как».

1915

* * *

За темной прядью перелесиц,
В неколебимой синеве,
Ягненок кудрявый – месяц
Гуляет в голубой траве.

В затихшем озере с осокой
Бодаются его рога,
И кажется с тропы далекой —
Вода качает берега.

А степь под пологом зеленым
Кадит черемуховый дым
И за долинами по склонам
Свивает полымя над ним.

О сторона ковыльной пущи,
Ты сердцу ровностью близка,
Но и в твоей таится гуще
Солончаковая тоска.

И ты, как я, в печальной тебе,
Забыв, кто друг тебе и враг,
О розовом тоскуешь небе
И голубиных облаках.

Но и тебе из синей шири
Пугливо кажет темнота
И кандалы твоей Сибири,
И горб Уральского хребта.

<<1915>>

Корова

Дряхлая, выпали зубы,
Свиток годов на рогах.
Бил ее выгонщик грубый
На перегонных полях.

Сердце не ласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.

Скоро на гречневом сее,
С той же сыновней судьбой,
Свяжут ей петлю на шее
И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...
Снится ей белая роща
И травяные луга.

1915

Впервые я увидел Есенина в Петербурге... Он показался мне мальчиком 15–17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором...

Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце...

Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.

– Если вы не устали...

– Я не устаю от стихов... А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

– Да, я очень люблю всякое зверье, – молвил Есенин задумчиво и тихо. И когда произнес последние строки:

Покатались глаза собачьи
Золотыми звездами в снег —

на его глазах тоже сверкнули слезы. После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии,

для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия...

Максим Горький

Песнь о собаке

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых оценила сука,
Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклат в мешок.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачи,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

1915

* * *

В том краю, где желтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам сиротливо
Избы деревень.

Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.

Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.

Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.

Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты.
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

И когда с улыбкой мимоходом
Распрямлю я грудь,
Языком залижет непогода
Прожитой мой путь.

1915

* * *

Алый мрак в небесной черни
Начертил пожаром грань.
Я пришел к твоей вечерне,
Полевая глухомань.

Нелегка моя кошница,
Но глаза синее дня.
Знаю, мать-земля черница,
Все мы тесная родня.

Разошлись мы в даль и шири
Под лазоревым крылом.
Но сзовет нас из псалтыри
Заревой заре псалом.

И придем мы по равнинам
К правде сошъего креста
Светом книги Голубиной
Напоить свои уста.

<<1915>>

* * *

Гаснут красные крылья заката,
Тихо дремлют в тумане плетни.
Не тоскуй, моя белая хата,
Что опять мы одни и одни.

Чистит месяц в соломенной крыше
Обоймленные синью рога.
Не пошел я за ней и не вышел
Провожать за глухие стога.

Знаю, годы тревогу заглушат.
Эта боль, как и годы, пройдет.
И уста, и невинную душу
Для другого она бережет.

Не силен тот, кто радости просит:
Только гордые в силе живут;
А другой изомнет и забросит,
Как изъеденный сырю хомут.

Не с тоски я судьбы поджидаю;
Будет злобно крутить пороша,
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.

Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня.
И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.

<<1916>>

* * *

Запели тесанные дроги,
Бегут равнины и кусты.
Опять часовни на дороге
И поминальные кресты.

Опять я теплой грустью болен
От овсяного ветерка,
И на известку колоколен
Невольно крестится рука.

О Русь, малиновое поле
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.

И не отдам я эти цепи,
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылем.

<<1916>>

* * *

Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам.
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором.

Пойду по белым кудрям дня
Искать убогое жилище.
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.

Весной и солнцем на лугу
Обвита желтая дорога,
И та, чье имя берегу,
Меня прогонит от порога.

И вновь вернуся в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.

Седые вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.
И необмытого меня
Под лай собачий похоронят.

А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам...
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.

<<1916>>

* * *

День ушел, убавилась черта,
Я опять подвинулся к уходу.
Легким взмахом белого перста
Тайны лет я разрезаю воду.

В голубой струе моей судьбы
Накипи холодной бьется пена,
И кладет печать немого плена
Складку новую у сморщенной губы.

С каждым днем я становлюсь чужим
И себе, и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом, у межи,
Оторвал я тень свою от тела.

Неодетая она ушла,
Взяв мои изогнутые плечи.
Где-нибудь она теперь далече
И другого нежно обняла.

Может быть, склоняясь к нему,
Про меня она совсем забыла
И, вперившись в призрачную тьму,
Складки губ и рта переменила.

Но живет по звуку прежних лет,
Что, как эхо, бродит за горами,
Я целую синими губами
Черной тенью тиснутый портрет.

<<1916>>

* * *

Прячет месяц за овинами
Желтый лик от солнца яркого.
Высоко над луговинами
По востоку пышет зарево.

Пеной рос заря туманится,
Словно глубь очей невестиных.
Прибрела весна, как странница,
С посошком в лаптях берестяных.

На березки в роще теневой
Серьги звонкие повесила
И с рассветом в сад сиреневый
Мотыльком порхнула весело.

<<1916>>

– У нас гости в столовой, – сказал Толстой, заглянув в мою комнату. – Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься. Он занятый.

Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев, в поддевке, с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил «по-поповски», накрошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, перекрестился на этюд Сарьяна и принялся читать нараспев вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, чересчур фольклорное какое-нибудь словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня также его мизинец с длинным, хорошо отполированным ногтем.

Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный, льняные волосы уложены бабочкой на лбу. С первого взгляда – фабричный паренек, мастеровой. Это и был Есенин.

На столе стояли вербы. Есенин взял темно-красный прутик из вазы.

– Что мышата на жердочке, – сказал он вдруг и улыбнулся.

Мне понравилось, *как* он это сказал, понравился юмор, блеснувший в озорных глазах, и *все* в нем вдруг понравилось. Стало ясно, что за простоватой его внешностью светится что-то совсем не простое и не обычное.

Крутя вербный прутик в руках, он прочел первое свое стихотворение, потом второе, потом третье. Он читал много в тот вечер. Мы были взволнованы стихами, и не знаю, как это случилось, но в благодарном порыве, прощаясь, я поцеловала его в лоб, прямо в льняную бабочку, ставшую вдруг такую же милой мне, как и все в его облике.

Н. В. Крандиевская-Толстая

Голубень

В прозрачном холоде заголубели доли,
Отчетлив стук подкованных копыт,
Трава поблекшая в расстеленные полы
Сбирает медь с обветренных раки.

С пустых лощин ползет дугою тощей
Сырой туман, курчаво свившись в мох,
И вечер, свесившись над речкою, полощет
Водою белой пальцы синих ног.

* * *

Осенним холодом расцвечены надежды,
Бредет мой конь, как тихая судьба,
И ловит край махающей одежды
Его чуть мокрая буланая губа.

В дорогу дальнюю, ни к битве, ни к покою,
Влекут меня незримые следы,
Погаснет день, мелькнув пятой златою,
И в короб лет улягутся труды.

* * *

Сыпучей ржавчиной краснеют по дороге
Холмы плешивые и слегшийся песок,
И пляшет сумрак в галочьей тревоге,
Согнув луну в пастушеский рожок.

Молочный дым качает ветром села,
Но ветра нет, есть только легкий звон.
И дремлет Русь в тоске своей веселой,
Вцепивши руки в желтый крутосклон.

* * *

Манит ночлег, недалеко до хаты,
Укропом вялым пахнет огород.

На грядки серые капусты волноватой
Рожок луны по капле масло льет.

Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость хлеба
И с хрустом мысленно кусаю огурцы,
За ровной гладью вздрогнувшее небо
Выводит облако из стойла под уздцы.

* * *

Ночлег, ночлег, мне издавна знакома
Твоя попутная разымчивость в крови,
Хозяйка спит, а свежая солома
Примята ляжками вдовеющей любви.

Уже светает, краской тараканьей
Обведена божница по углу,
Но мелкий дождь своей молитвой ранней
Еще стучит по мутному стеклу.

* * *

Опять передо мною голубое поле,
Качают лужи солнца рдяный лик.
Иные в сердце радости и боли,
И новый говор липнет на язык.

Водою зыбкой стынет синь во взорах,
Бредет мой конь, откинув удила,
И горстью смуглою листвы последний ворох
Кидает ветер вслед из подола.

<<1916>>

* * *

Даль подернулась туманом,
Чешет тучи лунный гребень.
Красный вечер за куканом
Расстелил кудрявый бредень.

Под окном от скользких вётел
Перепёлы звоны ветра.

Тихий сумрак, ангел теплый,
Напоен нежданным светом.

Сон избы легко и ровно
Хлебным духом сеет притчи.
На сухой соломе в дровнях
Слаще меда пот мужичий.

Чей-то мягкий лих за лесом,
Пахнет вишнями и мохом...
Друг, товарищ и ровесник,
Помолись коровьим вздохам.

Июнь 1916

* * *

Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.

Седины пасмурного дня
Плывут всклокоченные мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо.

Над куполом церковных глав
Тень от зари упала ниже.
О други игрищ и забав,
Уж я вас больше не увижу!

В забвенье канули года,
Вослед и вы ушли куда-то.
И лишь по-прежнему вода
Шумит за мельницей крылатой.

И часто я в вечерней мгле,
Под звон надломленной осоки,
Молюсь дымящейся земле
О невозвратных и далеких.

Июнь 1916

Лисица

А. М. Ремизову

На раздробленной ноге приковыляла,
У норы свернулася в кольцо.
Тонкой прошвой кровь отмежевала
На снегу дремучее лицо.

Ей все бластился в колючем дыме выстрел,
Колыхалась в глазах лесная топь.
Из кустов косматый ветер взбыстрил
И рассыпал звонистую дробь.

Как желна, над нею мгла металась,
Мокрый вечер липок был и ал.
Голова тревожно подымалась,
И язык на ране застывал.

Желтый хвост упал в метель пожаром,
На губах – как прелая морковь...
Пахло инеем и глиняным угаром,
А в ошур сочилась тихо кровь.

<<1916>>

* * *

За горами, за желтыми долами
Протянулася тропа деревень.
Вижу лес и вечернее поlying,
И обвитый крапивой плетень.

Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озер водяной ветерок.

Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь —
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.

Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,

Поклониться любви и кресту.

Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.

1916

* * *

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук.
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Все ж, кто выдумал твой гибкий стан
и плечи,
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

<<1916>>

* * *

Опять раскинулся узорно

Над белым полем багрянец,
И заливается задорно
Нижегородский бубенец.

Под затуманенною дымкой
Ты кажешь девичью красу,
И треплет ветер под косынку
Рыжеволосую косу.

Дуга, раскалываясь, пляшет,
То выныряя, то пропав,
Не заморозит, не обманет
Твой разукрашенный рукав.

Уже давно мне стала сниться
Полей малиновая ширь,
Тебе – высокая светлица,
А мне – далекий монастырь.

Там синь и полымя воздушней
И легкодымней пелена.
Я буду ласковый послушник,
А ты – разгульная жена.

И знаю я, мы оба станем
Грустить в упругой тишине:
Я по тебе – в глухом тумане,
А ты заплачешь обо мне.

Но и познав, я не приемлю
Ни тихих ласк, ни глубины.
Глаза, увидевшие землю,
В иную землю влюблены.

1916

* * *

О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины.
Изба-старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины.

Осенний холод ласково и кротко
Крадется мглой к овсяному двору;
Сквозь синь стекла желтоволосый отрок
Лучит глаза на галочью игру.

Обняв трубу, сверкает по повети
Зола зеленая из розовой печи.
Кого-то нет, и тонкогубый ветер
О ком-то шепчет, сгнувшем в ночи.

Кому-то пятками уже не мять по рошам
Щербленный лист и золото травы.
Тягучий вздох, ныряя звоном тощим,
Целует клюв нахохленной совы.

Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема,
Дорога белая узорит скользкий ров...
И нежно охает ячменная солома,
Свисая с губ кивающих коров.

<<1916>>

* * *

О товарищах веселых,
О полях посеребренных
Загрустила, словно голубь,
Радость лет уединенных.

Ловит память тонким клювом
Первый снег и первопуток.
В санках озера над лугом
Запоздалый окрик уток.

Под окном от скользких елей
Тень протягивает руки,
Тихих вод парагуш квелый
Курит люльку на излуке.

Легким дымом к дальним пожням
Шлет поклон день ласк и вишен.
Запах трав от бабьей кожи
На губах моих я слышу.

Мир вам, рощи, луг и липы,
Литии медовый ладан!
Все приившему с улыбкой
Ничего от вас не надо.

1916

* * *

Весна на радость не похожа,
И не от солнца желт песок.
Твоя обветренная кожа
Лучила гречневый пушок.

У голубого водопоя
На шишкоперой лебеде
Мы поклялись, что будем двое
И не расстанемся нигде.

Кадила темь, и вечер тощий
Свивался в огненной резьбе,
Я проводил тебя до рощи,
К твоей родительской избе.

И долго, долго в дреме зыбкой
Я оторвать не мог лица,
Когда ты с ласковой улыбкой
Махал мне шапкою с крыльца.

1916

* * *

Прощай, родная пуща,
Прости, златой родник.
Плывут и рвутся тучи
О солнечный сошник.

Сияй ты, день погожий,
А я хочу грустить.
За голенищем ножик
Мне больше не носить.

Под брюхом жеребенка
В глухую ночь не спать
И радостию звонкой
Лесов не оглашать.

И не избегнуть бури,
Не миновать утрат,
Чтоб прозвенеть в лазури
Кольцом незримых врат.

1916

* * *

Покраснела рябина,
Посинела вода.
Месяц, всадник унылый,
Уронил повода.

Снова выплыл из рощи
Синим лебедем мрак.
Чудотворные мощи
Он принес на крылах.

Край ты, край мой родимый,
Вечный пахарь и вой,
Словно Волга под ивой,
Ты поник головой.

Встань, пришло исцеленье,
Навестил тебя Спас.
Лебединое пенье
Нежит радугу глаз.

Дня закатного жертва
Искупила весь грех.
Новой свежестью ветра
Пахнет зреющий снег.

Но незримые дожди
Все теплей и теплей...
Помяну тебя в дождик
Я, Есенин Сергей.

1916

* * *

Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, земля.

Широки леса и воды,
Крепок взмах воздушных крыл.
Но века твои и годы

Затуманил бег светил.

Не тобой я поцелован,
Не с тобой мой связан рок.
Новый путь мне уготован
От захода на восток.

Суждено мне изначально
Возлететь в немую тьму.
Ничего я в час прощальный
Не оставлю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,
В тот покой, где спит гроза,
В две луны зажгу над бездной
Незакатные глаза.

1916

* * *

О край дождей и непогоды,
Кочующая тишина,
Ковригой хлебною под сводом
Надлюмлена твоя луна!

За перепаханною нивой
Малиновая лебеда.
На ветке облака, как слива,
Златится спелая звезда.

Опять дорогой верстовою,
Наперекор твоей беде,
Бреду и чую яровое
По голубеющей воде.

Клубит и пляшет дым болотный...
Но и в кошме певучей тьмы
Неизреченностью животной
Напоены твои холмы.

<<1916–1917>>

* * *

Синее небо, цветная дуга,
Тихо степные бегут берега,

Тянется дым, у малиновых сел
Свадьба ворон облегла частокол.

Снова я вижу знакомый обрыв
С красною глиной и сучьями ив,
Грезит над озером рыжий овес,
Пахнет ромашкой и медом от ос.

Край мой! Любимая Русь и Мордва!
Притчею мглы ты, как прежде, жива.
Нежно под трепетом ангельских крыл
Звонят кресты безымянных могил.

Многих ты, родина, ликом своим
Жгла и томила по шахтам сырым.
Много мечтает их, сильных и злых,
Выкусить ягоды персей твоих.

Только я верю: не выжить тому,
Кто разлюбил твой острог и тюрьму...
Вечная правда и гомон лесов
Радуют душу под звон кандалов.

<<1916>>

* * *

То не тучи бродят за овином
И не холод.
Замесила Божья Матерь сыну
Колоб.

Всякой снадобью она поила жито
В масле.
Испекла и положила тихо
В ясли.

Заигрался в радости младенец,
Пал в дрему,
Уронил он колоб золоченый
На солому.

Покатился колоб за ворота
Рожью.
Замутили слезы душу голубую
Божью.

Говорила Божья Матерь сыну

Советы:

«Ты не плачь, мой лебеденочек,
Не сетуй.

На земле все люди человеки,
Чада.
Хоть одну им малую забаву
Надо.

Жутко им меж темных
Перелесиц,
Назвала я этот колоб —
Месяц».

1916

* * *

Ночь и поле, и крик петухов...
С златной тучки глядит Саваоф.
Хлесткий ветер в равнинную синь
Катит яблоки с тощих осин.

Вот она, невеселая рябь
С журавлиной тоской сентября!
Смолкшим колоколом над прудом
Опрокинулся отчий дом.

Здесь все так же, как было тогда,
Те же реки и те же стада.
Только ивы над красным бугром
Обветшалым трясут подолом.

Кто-то сгиб, кто-то канул во тьму,
Уж кому-то не петать на холму.
Мирно грезит родимый очаг
О погибших во мраке плечах.

Тихо, тихо в божничном углу,
Месяц месит кутью на полу...
Но тревожит лишь поминам тишь
Из запечья пугливаямышь.

<<1916–1922>>

* * *

Твой глас незримый, как дым в избе.
Смиренным сердцем молюсь тебе.

Овсяным ликом питаю дух,
Помощник жизни и тихий друг.

Рудюю солнца посеян свет,
Для вечной правды названья нет.

Считает время песок мечты,
Но новых зерен прибавил ты.

В незримых пашнях растут слова,
Смешалась с думой ковыль-трава.

На крепких сгибах воздетых рук
Возводит церкви строитель звук.

Есть радость в душах – топтать твой цвет,
На первом снеге свой видеть след.

Но краше кротость и стихший пыл
Склонивших веки пред звоном крыл.

1916

Пропавший месяц

Облак, как мышь,
подбежал и взмахнул
В небо огромным хвостом.
Словно яйцо,
расколовшись, скользнул
Месяц за дальним холмом.

Солнышко утром в колодезь озер
Глянуло —
месяца нет...
Свесило ноги оно на бугор,
Кликнуло —
месяца нет.

Клич тот слышал с реки рыболов,
Вздумал старик подшутить.
Отраженье от солнышка
с утренних вод
Стал он руками ловить.

Выловил.
Крепко скрутил бечевой,
Уши коленом примял.
Вылез и тихо на луч золотой
Солнечных век
привязал.

Солнышко к Богу глаза подняло
И сказало:
«Тяжек мой труд!»
И вдруг солнышку
что-то веки свело,
Оглянулося – месяц как тут.

Как белка на ветке, у солнца в глазах
Запрыгала радость...
Но вдруг...
Луч оборвался, и по скользким холмам
Отраженье скатилось в луг.

Солнышко испугалось...
А старый дед,
Смеясь, грохотал, как гром.
И голубем синим
вечерний свет

Махал ему в рот крылом.

<<1917?>>

* * *

Колокольчик среброзвонный,
Ты поешь? Иль сердцу снится?
Свет от розовой иконы
На золотых моих ресницах.

Пусть не я тот нежный отрок
В голубином крыльев плеске,
Сон мой радостен и кроток
О нездешнем перелеске.

Мне не нужен вздох могилы,
Слову с тайной не обняться.
Научи, чтоб можно было
Никогда не просыпаться.

<<1917>>

* * *

Где ты, где ты, отчий дом,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой цветок,
Неприхоженный песок.
Где ты, где ты, отчий дом?

За рекой поет петух.
Там стада стерег пастух,
И светились из воды
Три далекие звезды.
За рекой поет петух.

Время – мельница с крылом
Опускает за селом
Месяц маятником в рожь
Лить часов незримый дождь.
Время – мельница с крылом.

Этот дождик с сонмом стрел
В тучах дом мой завертел,
Синий подкосил цветок,
Золотой примял песок.

Этот дождик с сонмом стрел.

1917

* * *

Песни, песни, о чем вы кричите?
Иль вам нечего больше дать?
Голубого покоя нити
Я учусь в мои кудри вплетать.

Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезд учусь.
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь.

Хорошо в эту лунную осень
Бродить по траве одному
И собирать на дороге колосья
В обнищалую душу-суму.

Но равнинная синь не лечит.
Песни, песни, иль вас не стряхнуть?..
Золотистой метелкой вечер
Расчищает мой ровный путь.

И так радостен мне над пущей
Замирающий в ветре крик:
«Будь же холоден ты, живущий,
Как осеннее золото лип».

1917

* * *

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

С чьей-то ласковости внешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней,
Неразгаданной земле.

Не гнетет немая млечность,
Не тревожит звездный страх.

Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.

Все в них благостно и свято,
Все тревожное светло.
Плещет рдяный мак заката
На озерное стекло.

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

<<1917>>

* * *

Отвори мне, страж заоблачный,
Голубые двери дня.
Белый ангел этой полночью
Моего увел коня.

Богу лишнего не надобно,
Конь мой – мощь моя и крепь.
Слышу я, как ржет он жалобно,
Закусив златую цепь.

Вижу, как он бьется, мечется,
Теребя тугой аркан,
И летит с него, как с месяца,
Шерсть буланая в туман.

1917

* * *

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем, совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой

Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.

1917

* * *

Я по первому снегу бреду.
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.

Я не знаю – то свет или мрак?
В чаще ветер поет иль петух?
Может, вместо зимы на полях,
Это лебеди сели на луг.

Хороша ты, о белая гладь!
Греет кровь мою легкий мороз.
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

О лесная, дремучая муть!
О веселье оснеженных нив!
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив.

1917

* * *

О пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть,
На сердце день вчерашний,
А в сердце светит Русь.

Как птицы, свищут версты
Из-под копыт коня.
И брызжет солнце горстью
Свой дождик на меня.

О край разливов грозных
И тихих вешних сил,
Здесь по заре и звездам
Я школу проходил.

И мыслил и читал я
По библии ветров,
И пас со мной Исайя
Моих златых коров.

1917

* * *

О Матерь Божья,
Спади звездой
На бездорожье,
В овраг глухой.

Пролей, как масло,
Власа луны
В мужичьи ясли
Моей страны.

Срок ночи долог.
В них спит твой сын.
Спусти, как полог,
Зарю на синь.

Окинь улыбкой
Мирскую весь
И солнце зыбкой
К кустам привесь.

И да взыграет
В ней, славя день,
Земного рая
Святой младень.

1917

* * *

Тучи с ожерёба
Ржут, как сто кобыл,
Плещет надо мною
Пламя красных крыл.

Небо словно вымя,
Звезды как сосцы.
Пухнет Божье имя
В животе овцы.

Верю: завтра рано,
Чуть забрезжит свет,
Новый под туманом
Вспыхнет Назарет.

Новое восславят
Рождество поля,
И, как пес, пролает
За горой заря.

Только знаю: будет
Страшный вопль и крик,
Отрекутся люди
Славить новый лик.

Скрежетом булата
Вздыбят пасть земли...
И со щек заката
Спрыгнут скулы-дни.

Побегут, как лани,
В степь иных сторон,
Где вздымает длани
Новый Симеон.

<<1917>>

* * *

Гляну в поле, гляну в небо,
И в полях и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.

Снова в рощах непасеных
Неизбывные стада,
И струится с гор зеленых
Златоструйная вода.

О, я верю – знать, за муки
Над пропащим мужиком
Кто-то ласковые руки
Проливает молоком.

15 августа 1917

* * *

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

По голубой долине,
Меж телок и коров,
Идет в золотой ряднине
Твой Алексей Кольцов.

В руках – краюха хлеба,
Уста – вишневый сок.
И вывездило небо
Пастушеский рожок.

За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идет одетый светом
Его середний брат.

От Вытегры до Шуи
Он избродил весь край
И выбрал кличку – Клюев,
Смиранный Миколай.

Монашья мудр и ласков,
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит пасха
С бескудрой головы.

А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я.

Долга, крута дорога,
Несчетны склоны гор;
Но даже с тайной Бога
Веду я тайно спор.

Сшибаю камнем месяц
И на немую дрожь
Бросаю, в небо свесясь,
Из голенища нож.

За мной незримым роем
Идет кольцо других,
И далеко по селам
Звенит их бойкий стих.

Из трав мы вяжем книги,
Слова трясем с двух пол.
И сродник наш, Чапыгин,
Певуч, как снег и дол.

Сокройся, сгинь ты, племя
Смердящих снов и дум!
На каменное темя
Несем мы звездный шум.

Довольно гнить и ноесть,
И славить взлетом гнусь —
Уж смыла, стерла деготь
Воспрянувшая Русь.

Уж повела крылами
Ее немая крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

1917

* * *

О муза, друг мой гибкий,
Ревнивица моя.
Опять под дождик сыпкий
Мы вышли на поля.

Опять весенним гулом
Приветствует нас дол,
Младенцем завернула
Заря луну в подол.

Теперь бы песню ветра
И нежное баю
За то, что ты окрепла,
За то, что праздник светлый
Влила ты в грудь мою.

Теперь бы брызнуть в небо
Вишневым соком стих
За отческую щедрость

Наставников твоих.

О мед воспоминаний!
О звон далеких лип!
Звездой нам пел в тумане
Разумниковский лик.

Тогда в веселом шуме
Игривых дум и сил
Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил.

Теперь мы стали зрелей
И весом тяжелей...
Но не заглушит трелью
Тот праздник соловей.

И этот дождик шалый
Его не смоем в нас,
Чтоб звон твоей лампы
Под ветром не погас.

<<1917>>

* * *

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.

Я сегодня увидел в пуще
След широких колес на лугу.
Треплет ветер под облачной кушей
Золотую его дугу.

На рассвете он завтра промчится,
Шапку-месяц пригнув под кустом,
И игриво взмахнет кобылица
Над равниною красным хвостом.

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...

И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров.

1917

* * *

Клюеву

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.
И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?
Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

1918

* * *

Л. И. Кашиной

Зеленая прическа,
Девическая грудь.
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?

Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?

Открой, открой мне тайну
Твоих древесных дум,
Я полюбил – печальный
Твой предосенний шум.

И мне в ответ березка:
«О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.

Луна стелила тени,
Сияли зеленыя.
За голые колени
Он обнимал меня.

И так, вдохнувши глубоко,
Сказал под звон ветвей:
«Прощай, моя голубка,
До новых журавлей».

15 августа 1918

* * *

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.

Здравствуй, златое затишье
С тенью березы в воде!
Галочья стая на крыше
Служит вечернюю звезде.

Где-то за садом, несмело,
Там, где калина цветет,
Нежная девушка в белом
Нежную песню поет.

Стелется синею рясой
С поля ночной холодок...
Глупое, милое счастье,
Свежая розовость щек!

1918

* * *

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом

Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь.
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого что тот старый клен
Головой на меня похож.

1918

* * *

Хорошо под осеннюю свежесть
Душу-яблоню ветром стряхать
И смотреть, как над речкою режет
Воду синюю солнца соха.

Хорошо выбивать из тела
Накаляющий песни гвоздь
И в одежде празднично белой
Ждать, когда постучится гость.

Я учусь, я учусь моим сердцем
Цвет черемух в глазах беречь,
Только в скупости чувства греются,
Когда ребра ломает течь.

Молча ухает звездная звонница,
Что ни лист, то свеча заре.
Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь.

1918

* * *

Закружилась листва золотая.
В розовой воде на пруду

Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлады,
Синий сумрак как стадо овец.
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть.
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...
Где ты, где, моя тихая радость —
Все любя, ничего не желать?

1918

Хулиган

Дождик мокрыми метлами чистит
Ивняковый помет по лугам.
Плюйся, ветер, охапками листьев,
Я такой же, как ты, хулиган.

Я люблю, когда синие чащи,
Как с тяжелой походкой волы,
Животами, листвой хрипящими,
По коленкам марают стволы.

Вот оно, мое стадо рыжее!
Кто ж воспеть его лучше мог?
Вижу, вижу, как сумерки лижут
Следы человеческих ног.

Русь моя! Деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой.

Взбрезжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берез!
Словно хочет кого придушить
Руками крестов погост!

Бродит черная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад.
Только сам я разбойник и хам
И по крови степной конокрад.

Кто видал, как в ночи кипит
Кипяченных черемух рать?
Мне бы в ночь в голубой степи
Где-нибудь с кистенем стоять.

Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

Но не бойся, безумный ветер,
Плюй спокойно листвой по лугам.
Не сотрет меня кличка «поэт»,
Я и в песнях, как ты, хулиган.

1919

* * *

Ветры, ветры, о снежные ветры,
Заметите мою прошлую жизнь.
Я хочу быть отроком светлым
Иль цветком с луговой межи.

Я хочу под гудок пастуший
Умереть для себя и для всех.
Колокольчики звездные в уши
Насыпает вечерний снег.

Хороша бестуманная трель его,
Когда топит он боль в пурге.
Я хотел бы стоять, как дерево,
При дороге на одной ноге.

Я хотел бы под конские храпы
Обниматься с соседним кустом.
Подымайте ж вы, лунные лапы,
Мою грусть в небеса ведром.

<<1919–1920>>

* * *

Душа грустит о небесах,
Она не здешних нив жилища.
Люблю, когда на деревьях
Огонь зеленый шевелится.

То сучья золотых стволов,
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звезды слов
На их листе первоначальной.

Понятен мне земли глагол,
Но не страхну я муку эту,
Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету.

Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну...
О, если б прорасти глазами,

Как эти листья, в глубину.

1919

* * *

Мариенгофу

Я последний поэт деревни,
Скромн в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвою берез.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость,
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

<<1920>>

* * *

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветер,
По-осеннему шепчут листья.

1920

Исповедь хулигана

Не каждый умеет петь,
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.
Сие есть самая великая исповедь,
Которой исповедуется хулиган.
Я нарочно иду нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потемках освещать.
Мне нравится, когда каменья брани
Летят в меня, как град рыгающей грозы,
Я только крепче жму тогда руками
Моих волос качнувшийся пузырь.
Так хорошо тогда мне вспоминать
Заросший пруд и хриплый звон ольхи,
Что где-то у меня живут отец и мать,
Которым наплевать на все мои стихи,
Которым дорог я, как поле и как плоть,
Как дождик, что весной взрыхляет зеленя.
Они бы вилами пришли вас заколоть
За каждый крик ваш, брошенный в меня.
Бедные, бедные крестьяне!
Вы, наверно, стали некрасивыми,
Так же боитесь Бога и болотных недр.
О, если б вы понимали,
Что сын ваш в России
Самый лучший поэт!
Вы ль за жизнь его сердцем не индевели,
Когда босые ноги он в лужах осенних макал?
А теперь он ходит в цилиндре
И лакированных башмаках.
Но живет в нем задор прежней вправки
Деревенского озорника.
Каждой корове с вывески мясной лавки
Он кланяется издалека.
И, встречаясь с извозчиками на площади,
Вспоминая запах навоза с родных полей,
Он готов нести хвост каждой лошади,
Как венчального платья шлейф.
Я люблю родину.
Я очень люблю родину!
Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.
Приятны мне свиней испачканные морды
И в тишине ночной звенящий голос жаб.
Я нежно болен воспоминаьем детства,

Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь.
Как будто бы на корточки погреться
Присел наш клен перед костром зари.
О, сколько я на нем яиц из гнезд вороньих,
Карабаясь по сучьям, воровал!
Все тот же ль он теперь, с верхушкою зеленой?
По-прежнему ль крепка его кора?
А ты, любимый,
Верный пегий пес?!
От старости ты стал визглив и слеп
И бродишь по двору, влача обвисший хвост,
Забыв чутьем, где двери и где хлев.
О, как мне дороги все те проказы,
Когда, у матери стянув краюху хлеба,
Кусали мы с тобой ее по разу,
Ни капельки друг другом не погребав.
Я все такой же.
Сердцем я все такой же.
Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.
Стеля стихов злаченные рогожи,
Мне хочется вам нежное сказать.
Спокойной ночи!
Всем вам спокойной ночи!
Отзвенела по траве сумерек зари коса...
Мне сегодня хочется очень
Из окошка луну обоссать.

Синий свет, свет такой синий!
В эту синь даже умереть не жаль.
Ну так что ж, что кажусь я циником,
Прицепившим к заднице фонарь!
Старый, добрый, заезженный Пегас,
Мне ль нужна твоя мягкая рысь?

Я пришел, как суровый мастер,
Воспеть и прославить крыс.
Башка моя, словно август,
Льется бурливых волос вином.

Я хочу быть желтым парусом
В ту страну, куда мы плывем.

<<Ноябрь 1920>>

* * *

Сторона ль ты моя, сторона!
Дождевое, осеннее олово.

В черной луже продрогший фонарь
Отражает безгубую голову.

Нет, уж лучше мне не смотреть,
Чтобы вдруг не увидеть худшего.
Я на всю эту ржавую мреть
Буду щурить глаза и суживать.

Так немного теплей и безбольней.
Посмотри: меж скелетов домов,
Словно мельник, несет колокольня
Медные мешки колоколов.

Если голоден ты – будешь сытым,
Коль несчастен – то весел и рад.
Только лишь не гляди открыто,
Мой земной неизвестный брат.

Как подумал я – так и сделал,
Но увы! Все одно и то ж!
Видно, слишком привыкло тело
Ощущать эту стужу и дрожь.

Ну, да что же! Ведь много прочих,
Не один я в миру живой!
А фонарь то мигнет, то захоочет
Безгубой своей головой.

Только сердце под ветхой одеждой
Шепчет мне, посетившему твердь:
«Друг мой, друг мой, прозревшие вежды
Закрывает одна лишь смерть».

1921

* * *

Мир таинственный, мир мой древний,
Ты, как ветер, затих и присел.
Вот сдавили за шею деревню
Каменные руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть.
Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу к тебе выхожу!

Город, город, ты в схватке жестокой

Окрестил нас как падаль и мразь.
Стынет поле в тоске волоокой,
Телеграфными столбами давясь.

Жилист мускул у дьявольской выи
И легка ей чугунная гать.
Ну, да что же? Ведь нам не впервые
И расшатываться и пропадать.

Пусть для сердца тягуче колко,
Это песня звериных прав!..
...Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.

Зверь припал... и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки...
Вдруг прыжок... и двуногого недруга
Раздирают на части клыки.

О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты не даром даешься ножу!
Как и ты, я, отсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.

Как и ты, я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.

И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зареюсь в снегу...
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.

1921

Песнь о хлебе

Вот она, суровая жестокость,
Где весь смысл страдания людей.
Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.

Наше поле издавна знакомо
С августовской дрожью поутру.
Перевязана в снопы солома,
Каждый сноп лежит, как желтый труп.

На телегах, как на катафалках,
Их везут в могильный склеп – овин.
Словно дьякон, на кобылу гаркнув,
Чтит возница погребальный чин.

А потом их бережно, без злости,
Головами стелют по земле
И цепями маленькие кости
Выбивают из худых телес.

Никому и в голову не встанет,
Что солома – это тоже плоть.
Людоедке-мельнице – зубами
В рот суют те кости обмолоть.

И, из мелева заквашивая тесто,
Выпекают груды вкусных яств...
Вот тогда-то входит яд белесый
В жбан желудка яйца злобы класть.

Все побои ржи в припек окрасив,
Грубость жнущих сжав в духмяный сок,
Он вкушающим соломенное мясо
Отравляет жернова кишок.

И свистят по всей стране, как осень,
Шарлатан, убийца и злодей...
Оттого что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.

1921

Живи Есенин триста лет тому назад, сложил бы он триста чудесных песен, выплакал бы радостные, как весенний сок, слезы умиленной души; народил бы сынов и дочерей и у порога земных дней

*зажег бы вечерний огонь – вкушал бы где-нибудь в лесном скиту в
молчании кроткую и светлую печаль.*

*Но судьба сулила ему родиться в наши дни, живет он в Москве,
в годы сатанинского искушения, среди мерзлых луж крови и гниющих
трупов, среди граммофонов, орущих на площадях проклятия, среди вишей,
тухлой капусты и лихорадочного бреда о стеклянно-бетонных городах,
вращающихся башнях Татлина и электрификации земного шара...*

Алексей Толстой

* * *

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя! иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвести и умереть.

1921

* * *

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,

Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипяток вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая словесная гора,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаля
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

Февраль 1922

Литературный стол был чрезмерно обустроен. Оркестр играл непрерывно. Рядом был А. Толстой. Напротив – Н. Крандиевская и Есенин... Она что-то говорила... Но Есенин не слышал. Он вскидывал головой, чему-то улыбался и синими глазами смотрел в пьяное пространство...

Я сказал Есенину:

– Чего вы уставились?

Дальше должна была быть брань, драка, бутылкой в голову. Но Есенин улыбнулся тихо и жалобно... И сказал, протягивая руку:

– Я – ничего. Я – Есенин, давайте познакомимся...

Средь цветов и бутылок Есенин, облокотившись на стол, стал читать стихи. За столом замолчали, наклонившись к нему.

Когда Есенин читал, я смотрел на его лицо... Такие лица бывают хороши в отрочестве. Сейчас оно было больное, мертвенное, с впалым голубым румянцем. Золотые волосы и синие глаза были словно от другого лица, забытого в Рязани...

Он казался скакуном, потерявшим бровку и бросившимся вскачь целиной ипподрома. Я заказал оркестру трепак. Трепак начался медленно, «с подмывом». Мы стали просить Есенина. Он прошел несколько шагов.

Остановился. Улыбнулся в пол. Но темп был хорош. И Есенин заплясал. Плясал он, как пляшут в деревне на праздник. С коленцем. С вывертом.

– Вприсядку, Сережа! – кричали мы.

Смокинг легко и низко опустился. Есенин шел присядкой по залу. Оркестр ускорял темп, доходя до невозможного плясуну. Есенина подхватили под руки. Гром аплодисментов. И мы опять пришли к столу, где в тортах стояли окурки и цветы валялись, как измятые лошадыми...

Толстой с Крандиевской уехали... Я шел, качаясь, пустым залом... И вместо комнаты, где сидели мы, – вошел, где лакеи составляли посуду. Тут на столе сидел Есенин. Он сидя спал. Смокинг был смят. Лицо – отчаянной бледности. А сидел так, как в ночном у костра сидят крестьянские мальчишки, поджав под себя ноги.

Роман Гуль

* * *

Не ругайтесь! Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова.

Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как же смог я ее донести?
Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.

Позабуду поэмы и книги,
Перекину за плечи суму,
Оттого что в полях забулдыге
Ветер больше поет, чем кому.

Провоняю я редькой и луком
И, тревожа вечернюю гладь,
Буду громко сморкаться в руку
И во всем дурака валять.

И не нужно мне лучшей удачи,
Лишь забыться и слушать пургу,
Оттого что без этих чудачеств
Я прожить на земле не могу.

1922

* * *

Я обманывать себя не стану,

Залегла забота в сердце мглистом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.

Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.

Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу.
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе, —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею.
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

И теперь уж я болеть не стану.
Прояснилась омут в сердце мглистом.
Оттого прослыл я шарлатаном,
Оттого прослыл я скандалистом.

1922

* * *

Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог.

Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях,
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.

А когда ночью светит месяц,
Когда светит... черт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

Сердце бьется все чаще и чаще,
И уж я говорю невпопад:
Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад.

Низкий дом без меня ссудилится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог.

1922

* * *

Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином.

Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвячиной
Над пропащею этой гульбой.

Ах, сегодня так весело россам,
Самогонного спирта – река.
Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поет и про Чека.

Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что стубили свою жизнь сторяча.

Жалко им, что октябрь суровый
Обманул их в своей пурге.
И уж удалю точится новой
Крепко спрятанный нож в сапоге.

Где ж вы те, что ушли далече?
Ярко ль светят вам наши лучи?
Гармонист спиртом сифилис лечит,
Что в киргизских степях получил.

Нет! таких не поднять, не рассеять!
Бесшабашность им гнилью дана.
Ты, Рассея моя... Рас... сея...
Азиатская сторона!

1922

* * *

Сыпь, гармоника! Скука... Скука...
Гармонист пальцы льет волной.
Пей со мною, паршивая сука,
Пей со мной.

Излюбили тебя, измызгали,
Невтерпеж!
Что ж ты смотришь так синими брызгами,
Иль в морду хошь?

В огород бы тебя, на чучело,
Пугать ворон.
До печенок меня замучила
Со всех сторон.

Сыпь, гармоника! Сыпь, моя частая!
Пей, выдра! Пей!
Мне бы лучше вон ту, сисястую, —
Она глупей.

Я средь женщин тебя не первую,
Немало вас,
Но с такой вот, как ты, со стервою

Лишь в первый раз.

Чем больше, тем звонче,
То здесь, то там.
Я с собой не покончу,
Иди к чертям.

К вашей своре собачьей
Пора простыть.
Дорогая... я плачу...
Прости... прости...

<<1922>>

* * *

Пой же, пой. На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре,
Мой последний, единственный друг.

Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.

Я не знал, что любовь – зараза,
Я не знал, что любовь – чума.
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума.

Пой, мой друг. Навей мне снова
Нашу прежнюю буйную рань.
Пусть целует она другова,
Молодая, красивая дрянь.

Ах, постой. Я ее не ругаю.
Ах, постой. Я ее не кляню.
Дай тебе про себя я сыграю
Под басовую эту струну.

Льется дней моих розовый купол.
В сердце снов золотых сума.
Много девушек я перешупал,
Много женщин в углах прижимал.

Да! есть горькая правда земли,
Подсмотрел я ребяческим оком:

Лижут в очередь кобели
Истекающую суку соком.

Так чего ж мне ее ревновать.
Так чего ж мне болеть такому.
Наша жизнь – простыня да кровать.
Наша жизнь – поцелуй да в омут.

Пой же, пой! В роковом размахе
Этих рук роковая беда.
Только знаешь, пошли их на хер...
Не умру я, мой друг, никогда.

<<1922>>

Прощание с Мариенгофом

Есть в дружбе счастье оголтелое
И судорога буйных чувств —
Огонь растапливает тело,
Как стеариновую свечу.

Возлюбленный мой! дай мне руки —
Я по-иному не привык, —
Хочу омыть их в час разлуки
Я желтой пеной головы.

Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,
В который миг, в который раз —
Опять, как молоко, застыли
Круги недвижущихся глаз.

Прощай, прощай. В пожарах лунных
Дождусь ли радостного дня?
Среди прославленных и юных
Ты был всех лучше для меня.

В такой-то срок, в таком-то годе
Мы встретимся, быть может, вновь...
Мне страшно, — ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь.

Другой в тебе меня заглушит.
Не потому ли — в лад речам —
Мои рыдающие уши,
Как весла, плещут по плечам?

Прощай, прощай. В пожарах лунных
Не зреть мне радостного дня.
Но все ж средь трепетных и юных
Ты был всех лучше для меня.

<<1922>>

* * *

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в Бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.

Золотые, далекие дали!
Все сжигает житейская мреть.
И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.

Дар поэта – ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились —
Значит, ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной, —

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

1923

* * *

Я усталым таким еще не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось рязанское небо
И моя непутевая жизнь.

Много женщин меня любило,
Да и сам я любил не одну,
Не от этого ль темная сила
Приучила меня к вину.

Бесконечные пьяные ночи
И в разгуле тоска не впервь!
Не с того ли глаза мне точит,
Словно синие листья червь?

Не больна мне ничья измена,
И не радует легкость побед, —
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет.

Превращается в пепел и воды,
Когда цедит осенняя муть.
Мне не жаль вас, прошедшие годы, —
Ничего не хочу вернуть.

Я устал себя мучить без цели,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца...

И теперь даже стало не тяжело
Ковылять из притона в притон,
Как в смиренную рубашку,
Мы природу берем в бетон.

И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл.
Но и все ж отношусь я с поклоном
К тем полям, что когда-то любил.

В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве, —
Шлю привет воробьям, и воронам,
И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:
«Птицы милые, в синюю дрожь
Передайте, что я отскандалил, —
Пусть хоть ветер теперь начинает
Под микитки дубасить рожь».

<<1923>>

* * *

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь как запущенный сад,
Был на женщин и зелье падкий.

Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.

Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз златокарий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.

Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.

Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали...
В первый раз я воспел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

1923

* * *

Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь холод осени синий.

По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.

Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?

Я не нищий, ни жалок, ни мал

И умею расслышать за пылом:
С детства нравиться я понимал
Кобелям да степным кобылам.

Потому и себя не сберег
Для тебя, для нее и для этой.
Невеселого счастья залог —
Сумасшедшее сердце поэта.

Потому и грущу, осев,
Словно в листья, в глаза косые...
Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.

1923

* * *

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.

О, возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.

Я сердцем никогда не лгу
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.

Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце напилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.

И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход непрехотливый.

Теперь со многим я мирюсь
Без принуждения, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными кладбища и хаты.

Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.

Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.

1923

* * *

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную выюгу.

Это золото осеннее,
Эта прядь волос белесых —
Все явилось, как спасенье
Беспокойного повесы.

Я давно мой край оставил,
Где цветут луга и чащи.
В городской и горькой славе
Я хотел прожить пропащим.

Я хотел, чтоб сердце глуше
Вспоминало сад и лето,
Где под музыку лягушек
Я растил себя поэтом.

Там теперь такая ж осень...
Клен и липы в окна комнат,
Ветки лапами забросив,
Ищут тех, которых помнят.

Их давно уж нет на свете.
Месяц на простом погосте
На крестах лучами метит,
Что и мы придем к ним в гости.

Что и мы, отжив тревоги,
Перейдем под эти кущи.
Все волнистые дороги
Только радость льют живущим.

Дорогая, сядь же рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

9 октября 1923

* * *

Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только желтый тлен и сырость.

Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.

Вот так же отцветем и мы
И отшумим, как гости сада...
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.

1923

* * *

Ты прохладой меня не мучай
И не спрашивай, сколько мне лет.
Одержимый тяжелой падучей,

Я душой стал, как желтый скелет.

Было время, когда из предместья
Я мечтал по-мальчишески – в дым,
Что я буду богат и известен
И что всеми я буду любим.

Да! Богат я, богат с излишком.
Был цилиндр, а теперь его нет.
Лишь осталась одна манишка
С модной парой избитых штиблет.

И известность моя не хуже,
От Москвы по парижскую рвань
Мое имя наводит ужас,
Как заборная, громкая брань.

И любовь, не забавное ль дело?
Ты целуешь, а губы как жель.
Знаю, чувство мое перезрело,
А твое не сумеет расцвести.

Мне пока горевать еще рано,
Ну, а если есть грусть – не беда!
Золотей твоих кос по курганам
Молодая шумит лебеда.

Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески – в дым.

Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.

1923

* * *

Вечер черные брови насупил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?

Не храпи, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа.

Может, завтра больничная койка
Упокоит меня навсегда.

Может, завтра совсем по-другому
Я уйду, исцеленный навек,
Слушать песни дождей и черемух,
Чем здоровый живет человек.

Позабуду я мрачные силы,
Что терзали меня, губя.
Облик ласковый! Облик милый!
Лишь одну не забуду тебя.

Пусть я буду любить другую,
Но и с нею, с любимой, с другой,
Расскажу про тебя, дорогую,
Что когда-то я звал дорогой.

Расскажу, как текла бывая
Наша жизнь, что былой не была.
Голова ль ты моя удалая,
До чего ж ты меня довела?

1923

* * *

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.

Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.

Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.

Я любил этот дом деревянный,

В бревнах теплилась грозная мощь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.

Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?

Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.

Ах, и я эти страны знаю.
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.

Но угасла та нежная дрема,
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе – полевая солома,
Мир тебе – деревянный дом!

1923

Папиросники

Улицы печальные,
Сугробы да мороз.
Сорванцы отчаянные
С лотками папирос.
Грязных улиц странники
В забаве злой игры,
Все они – карманники,
Веселые воры.
Тех площадь – на Никитской,
А этих – на Тверской.
Стоят с тоскливым свистом
Они там день-деньской.
Снуют по всем притонам
И, улучив досуг,
Читают Пинкертона
За кружкой пива вслух.
Пускай от пива горько,
Они без пива – вдрызг.
Все бредят Нью-Йорком,
Всех тянет в Сан-Франциск.
Потом опять печально
Выходят на мороз
Сорванцы отчаянные
С лотками папирос.

1923

Пушкину

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Но эти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

26 мая 1924

Сукин сын

Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг.
Мне припомнилась нынче собака,
Что была моей юности друг.

Нынче – юность моя отшумела,
Как подгнивший под окнами клен,
Но припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почтальон.

Не у всякого есть свой близкий,
Но она мне как песня была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала.

Никогда она их не читала,
И мой почерк ей был незнаком,
Но о чем-то подолгу мечтала
У калины за желтым прудом.

Я страдал... Я хотел ответа...
Не дождался... уехал... И вот
Через годы... известным поэтом
Снова здесь, у родимых ворот.

Та собака давно околела,
Но в ту ж масть, что с отливом в синь,
С лаем ливисто ошалелым
Меня встрел молодой ее сын.

Мать честная! И как же схожи!
Снова выплыла боль души.
С этой болью я будто моложе,
И хоть снова записки пиши.

Рад послушать я песню былую,
Но не лай ты! Не лай! Не лай!
Хочешь, пес, я тебя поцелую
За пробуженный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом
И как друга введу тебя в дом...
Да, мне нравилась девушка в белом,
Но теперь я люблю в голубом.

31 июля 1924

* * *

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

Для меня было все тогда новым,
Много в сердце теснилось чувств,
А теперь даже нежное слово
Горьким плодом срывается с уст.

И знакомые взору просторы
Уж не так под луной хороши.
Буераки... пеньки... косогоры
Обпечалили русскую ширь.

Нездоровое, хилое, низкое,
Водянистая серая гладь.
Это все мне родное и близкое,
От чего так легко зарыдать.

Покосившаяся избенка,
Плач овцы, и вдали на ветру
Машет тощим хвостом лошаденка,
Заглядевшись в неласковый пруд.

Это все, что зовем мы родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дождаясь улыбчивых дней.

Потому никому не рассыпать
Эту грусть смехом ранних лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

1924

* * *

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавними

Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цветь,
Да ракитник кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года.
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.

<<1924>>

* * *

Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь,
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь.

Пускай о многом неумело
Шептал бумаге карандаш,
Душа спросонок хрипло пела,
Не понимая праздник наш.

Но ты видением поэта
Прочтешь не в буквах, а в другом,

Что в той стране, где власть Советов,
Не пишут старым языком.

И, разбирая опыт смелый,
Меня насмешке не предашь, —
Лишь потому так неумело
Шептал бумаге карандаш.

<<1924>>

Возвращение на Родину

Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где каланчой с березовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста.
Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.
Отцовский дом
Не мог я распознать:
Приметный клен уж под окном не машет
И на крылечке не сидит уж мать,
Кормя цыплят крупитчатой кашей.
Стара, должно быть, стала...
Да, стара.
Я с грустью озираюсь на окрестность.
Какая незнакомая мне местность!
Одна, как прежняя, белеется гора,
Да у горы
Высокий серый камень.
Здесь кладбище!
Подгнившие кресты,
Как будто в рукопашной мертвецы,
Застыли с распростертыми руками.
По тропке, опершись на подожок,
Идет старик, сметая пыль с бурьяна.
«Прохожий!
Укажи, дружок,
Где тут живет Есенина Татьяна?»

«Татьяна... Гм...
Да вон за той избой.
А ты ей что?
Сродни?
Аль, может, сын пропащий?»

«Да, сын.
Но что, старик, с тобой?
Скажи мне,
Отчего ты так глядишь скорбяще?»

«Добро, мой внук,
Добро, что не узнал ты деда!..»
«Ах, дедушка, ужели это ты?»

И полилась печальная беседа
Слезами теплыми на пыльные цветы.

.

«Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать...
А мне уж девяносто...
Скоро в гроб.
Давно пора бы было воротиться».
Он говорит, а сам все морщит лоб.

«Да!.. Время!..
Ты не коммунист?»
«Нет!..»
«А сестры стали комсомолки.
Такая гадость! Просто удавись!

Вчера иконы выбросили с полки,
На церкви комиссар снял крест.
Теперь и Богу негде помолиться.
Уж я хожу украдкой нынче в лес,
Молюсь осинам...
Может, пригодится...
Пойдем домой —
Ты все увидишь сам».

И мы идем, топча межой кукольной.
Я улыбаюсь пашням и лесам,
А дед с тоской глядит на колокольню.

.

.

«Здорово, мать! Здорово!»
И я опять тяну к глазам платок.
Тут разрыдаться может и корова,
Глядя на этот бедный уголок.

На стенке календарный Ленин.
Здесь жизнь сестер,
Сестер, а не моя, —
Но все ж готов упасть я на колени,
Увидев вас, любимые края.

Пришли соседи...
Женщина с ребенком.
Уже никто меня не узнает.
По-байроновски наша собачонка

Меня встречала с лаем у ворот.

Ах, милый край!
Не тот ты стал,
Не тот.
Да уж и я, конечно, стал не прежний.
Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.

Конечно, мне и Ленин не икона,
Я знаю мир...
Люблю мою семью...
Но отчего-то все-таки с поклоном
Сажусь на деревянную скамью.

«Ну, говори, сестра!»

И вот сестра разводит,
Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,
О Марксе,
Энгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

И мне смешно,
Как шустрая девчонка
Меня во всем за шиворот берет...

.

.

По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

1 июня 1924

Русь Советская

А. Сахарову

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело
На переключке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.
Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница – бревенчатая птица
С крылом единственным – стоит, глаза смежив.
Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.
А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.
И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.
И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.
Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.

Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней, —
Уж не село, а вся земля им мать».

Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

Вот вижу я:

Воскресные сельчане
У волости, как в церковь, собрались.
Корявыми, немытыми речами
Они свою обсуживают «жись».

Уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обрызгал серые поля.
И ноги босые, как телки под ворота,
Уткнули по канавам тополя.

Хромой красноармеец с ликом сонным,
В воспоминаниях морщина лоб,
Рассказывает важно о Буденном,
О том, как красные отбили Перекоп.

«Уж мы его – и этак и раз-этак, —
Буржуя энтого... которого... в Крыму...»
И клены морщатся ушами длинных веток,
И бабы охают в немую полутьму.

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Ну что ж! Прости, родной приют.
Чем сослужил тебе – и тем уж я доволен.
Пускай меня сегодня не поют —
Я пел тогда, когда был край мой болен.

Приемлю всё.
Как есть всё принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки,
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки
И песни нежные лишь только пела мне.

Цветите, юные, и здоровейте телом!
У вас иная жизнь. У вас другой напев.

А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирив.

Но и тогда,
Когда на всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

1924

Русь уходящая

Мы многое еще не сознаем,
Питомцы ленинской победы,
И песни новые
По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды.

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Здрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Я уходящих в грусти не виню,
Ну где же старикам
За юношами гнаться?
Они несжатой рожью на корню
Остались догнывать и осыпаться.

И я, я сам,
Не молодой, не старый,
Для времени навозом обречен.
Не потому ль кабацкий звон гитары
Мне навевает сладкий сон?

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Советскую я власть виню,
И потому я на нее в обиде,
Что юность светлую мою
В борьбе других я не увидел.

Что видел я?
Я видел только бой
Да вместо песен
Слышал канонаду.
Не потому ли с желтой головой
Я по планете бегал до упаду?

Но все ж я счастлив.
В сонме бурь

Неповторимые я вынес впечатленья.
Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканое цветенье.

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.

Но есть иные люди.
Те
Еще несчастней и забытей.
Они, как отрубь в решете,
Средь непонятных им событий.

Я знаю их
И подсмотрел:
Глаза печальнее коровьих.
Средь человеческих мирных дел,
Как пруд, заплесневела кровь их.

Кто бросит камень в этот пруд?
Не троньте!
Будет запах смрада.
Они в самих себе умрут,
Истлеют падью листопада.

А есть другие люди,
Те, что верят,
Что тянут в будущее робкий взгляд.
Почесывая зад и перед,
Они о новой жизни говорят.

Я слушаю. Я в памяти смотрю,
О чем крестьянская судачит оголь.
«С Советской властью жить нам
по нутрю...
Теперь бы ситцу... Да гвоздей
немного...»

Как мало надо этим брадачам,
Чья жизнь в сплошном
Картофеле и хлебе.
Чего же я ругаюсь по ночам
На неудачный, горький жребий?

Я тем завидую,
Кто жизнь провел в бою,

Кто защищал великую идею.
А я, сгубивший молодость свою,
Воспоминаний даже не имею.

Какой скандал!
Какой большой скандал!
Я очутился в узком промежутке.
Ведь я мог дать
Не то, что дал,
Что мне давалось ради шулки.

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Я знаю, грусть не утопить в вине,
Не вылечить души
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне,
Здрав штаны,
Бежать за комсомолом.

<<1924>>

* * *

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушьё пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и доли.

Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенег?

Не сон, не сон, я вижу вьявь,
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.
Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна
Иль всадник обронил подкову?
Все спуталось...

(Фрагмент из поэмы «Гуляй-поле»)
<<1924>>

Стансы

Посвящается П. Чагину

Я о своем таланте
Много знаю.
Стихи – не очень трудные дела.
Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.

Стишок писнуть,
Пожалуй, всякий может —
О девушке, о звездах, о луне...
Но мне другое чувство
Сердце гложет,
Другие думы
Давят череп мне.

Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном —
В великих штатах СССР.

Я из Москвы надолго убежал:
С милицией я ладить
Не в сноровке,
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали
В тигулевке.

Благодарю за дружбу граждан сих,
Но очень жестко
Спать там на скамейке
И пьяным голосом
Читать какой-то стих
О клеточной судьбе
Несчастной канарейки.

Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам.
Пускай бываю иногда я пьяным,

Зато в глазах моих
Прозрений дивных свет.

Я вижу всё
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюму вам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветер, по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.

Вертитесь, милые!
Для вас обещан прок.
Я вам племянник,
Вы же мне все дяди.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Понюхаем премудрость
Скучных строк.

Дни, как ручьи, бегут,
В туманную реку.
Мелькают города,
Как буквы по бумаге.
Недавно был в Москве,
А нынче вот в Баку.
В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин.

«Смотри, – он говорит, —
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
Черных нефть-фонтанов,
Довольно с нас мистических туманов,
Воспой, поэт,
Что крепче и живей».

Нефть на воде,
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
Но я готов поклясться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звезд в Баку.

Я полон дум об индустриальной мощи,
Я слышу голос человеческих сил.

Довольно с нас
Небесных всех светил —
Нам на земле
Устроить это проще.

И, самого себя
По шее глядя,
Я говорю:
«Настал наш срок,
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк».

1924

Поэтам Грузии

Писали раньше
Ямбом и октавой.
Классическая форма
Умерла,
Но нынче, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
Удила.

Земля далекая!
Чужая сторона!
Грузинские кремнистые дороги.
Вино янтарное
В глаза струит луна,
В глаза глубокие,
Как голубые роги.

Поэты Грузии!
Я ныне вспомнил вас.
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

Я – северный ваш друг
И брат!
Поэты – все единой крови.
И сам я тоже азиат
В поступках, в помыслах
И слове.

И потому в чужой
Стране
Вы близки
И приятны мне.

Века все смелют,
Дни пройдут,
Людская речь

В один язык сольется.
Историк, сочиняя труд,
Над нашей рознью улыбнется.

Он скажет:
В пропасти времен
Есть изысканья и приметы...
Дрались сонмища племен,
Зато не ссорились поэты.

Свидетельствует
Вещий знак:
Поэт поэту
Есть кунак.

Самодержавный
Русский гнет
Сжимал все лучшее за горло,
Его мы кончили —
И вот
Свобода крылья распростерла.

И каждый в племени своем,
Своим мотивом и наречьем,
Мы всяк
По-своему поем,
Поддавшись чувствам
Человечьим...

Свершился дивный
Рок судьбы:
Уже мы больше
Не рабы.

Поэты Грузии,
Я ныне вспомнил вас,
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!..

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

1924

На Кавказе

Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.

Здесь Пушкин в чувственном огне
Слагал душой своей опальной:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

И Лермонтов, тоску лечя,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру вместо злата.

За грусть и желчь в своем лице
Кипенья желтых рек достоин,
Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен.

И Грибоедов здесь зарыт,
Как наша дань персидской хмари,
В подножии большой горы
Он спит под плач зурны и тари.

А ныне я в твою безгладь
Пришел, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрывать
Иль подсмотреть свой час кончины!

Мне все равно! Я полон дум
О них, ушедших и великих.
Их исцелял гортанный шум
Твоих долин и речек диких.

Они бежали от врагов
И от друзей сюда бежали,
Чтоб только слышать звон шагов
Да видеть с гор глухие дали.

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой,
Зане созрел во мне поэт
С большой эпической темой.

Мне мил стихов российский жар,
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-маляр,
Поет о пробках в Моссельпроме.

И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел —
И в клетке сдохла канарейка.

Других уж нечего считать,
Они под хладным солнцем зреют.
Бумаги даже замарать
И то как надо не умеют.

Прости, Кавказ, что я о них
Тебе промолвил ненароком,
Ты научи мой русский стих
Кизиловым струиться соком.

Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забыть ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой.

И чтоб одно в моей стране
Я мог твердить в свой час прощальный:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

Сентябрь 1924

Тифлис

Письмо матери

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, —
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

<<1924>>

Письмо к женщине

Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.

Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше, вниз.

Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.

Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несет нас рок событий.

Лицом к лицу
Лица не увидеть.
Большое видится на расстоянии.
Когда кипит морская гладь,
Корабль в плачевном состоянии.

Земля – корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво.

Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я,
Под дикий шум,
Но зрело знающий работу,
Спустился в корабельный трюм,
Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был —
Русским кабаком.
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.

Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.

Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий...

.

Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!

Сегодня я
В ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную усталость.
И вот теперь
Я сообщить вам мчусь,
Каков я был
И что со мною случилось!

Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в Советской стороне
Я самый яростный попутчик.

Я стал не тем,
Кем был тогда.
Не мучил бы я вас,
Как это было раньше.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ла-Манша.

Простите мне...
Я знаю: вы не та —
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.

Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кушей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш

Сергей Есенин.
<<1924>>

* * *

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь!

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле...
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

1924

* * *

Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.
Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли,
Были синие глаза, да теперь поблекли.
Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно.
В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.
Руки вытяну и вот – слушаю на ощупь:
Едем... кони... сани... снег... проезжаем рощу.
«Эй, ямщик, неси вовсю! Чай, рожден не слабым!»
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам».
А ямщик в ответ одно: «По такой метели
Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели».
«Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам!»
Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам.
Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья.
Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.
Встал и вижу: что за черт – вместо бойкой тройки...
Забинтованный лежу на больничной койке.
И вместо лошадей по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.
На лице часов в усы закрутились стрелки.
Наклонились надо мной сонные сиделки.
Наклонились и хрипят: «Эх ты, златоглавый,
Отравил ты сам себя горькою отравой.
Мы не знаем: твой конец близок ли, далек ли.
Синие твои глаза в кабаках промокли».

1924

* * *

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растрченных
напрасно,
Не жаль души сиреневую цветъ.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

1924

Мне очень дорог тот образ Есенина, как он вырисовывался передо мной. Еще до революции, в 1916 году, меня поразила необычайная доброта, необычайная мягкость, необычайная чуткость и повышенная деликатность... Таким я видел его в 1916 году, таким я с ним встретился в 18–19 годах, таким, заболевшим, я видел его в 1921 году, и таким был наш последний разговор...

Андрей Белый

Персидские мотивы

Ни в настоящий Шираз, как и в реально-географический Хороссан, Есенин, как и его великие предшественники Пушкин и Лермонтов, тоже мечтавшие о путешествии в страну чудес – Персию, не попал и все-таки проскакал её всю – от границы до границы – на розовом коне воображения, потому что искал и находил «Персию» и в Баку, и в Тифлисе, и в Батуми, он и свою комнату в убогой московской коммуналке умел превратить в бирюзовую чайхану, разбросав и развесив всюду восточные ткани и персидские, привезенные с Кавказа, купленные на последние деньги сказочной красоты шали...

* * *

Улеглась моя бывшая рана,
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.

Сам чайханщик с круглыми плечами,
Чтобы славилась пред русским чайхана,
Угощает меня красным чаем
Вместо крепкой водки и вина.

Угощай, хозяин, да не очень.
Много роз цветет в твоём саду.
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак,
Поцелуям учимся без денег,
Без кинжальных хитростей и драк.

Ну а этой за движенья стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.

Наливай, хозяин, крепче чаю,
Я тебе вовеки не солгу.
За себя я нынче отвечаю,
За тебя ответить не могу.

И на дверь ты взглядывай не очень,
Все равно калитка есть в саду...
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

1924

* * *

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?

Я спросил сегодня у менялы
Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое «поцелуй»?

И еще спросил я у менялы,
В сердце робость глубже притая,
Как сказать мне для прекрасной Лалы,
Как сказать ей, что она «моя»?

И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.

Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты моя» сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.

1924

* * *

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,

Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли?

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ!

1924

* * *

Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, Бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: «За Ефратом
Розы лучше смертных дев».
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне —
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

19 декабря 1924

* * *

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.
Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,
Для тебя навеки дела нет,
Что в далеком имени – Россия —
Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий, синий край?

Я сюда приехал не от скуки —
Ты меня, незримая, звала.
И меня твои лебяжьи руки
Обвивали, словно два крыла.

Я давно ищу в судьбе покоя,
И хоть прошлой жизни не клянусь,
Расскажи мне что-нибудь такое
Про твою веселую страну.

Заглуши в душе тоску тальянки,
Напой дыханьем свежих чар,
Чтобы я о дальней северянке
Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре —
Я тебе придумаю о нем.
Все равно – глаза твои, как море,
Голубым колышутся огнем.

21 декабря 1924

* * *

Свет вечерний шафранного края,
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорогая,
Ту, которую пел Хаям.
Тихо розы бегут по полям.

Лунным светом Шираз осиянен,
Кружит звезд мотыльковый рой.
Мне не нравится, что персияне
Держат женщин и дев под чадрой.
Лунным светом Шираз осиянен.

Иль они от тепла застыли,
Закрывая телесную медь?
Или, чтобы их больше любили,
Не желают лицом загореть,
Закрывая телесную медь?

Дорогая, с чадрой не дружись,
Заучи эту заповедь вкратце,
Ведь и так коротка наша жизнь,
Мало счастьем дано любоваться.
Заучи эту заповедь вкратце.

Даже все некрасивое в роке
Осеньет своя благодать.
Потому и прекрасные щеки
Перед миром грешно закрывать,
Коль дала их природа-мать.

Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям...
Тихо розы бегут по полям.

1924

* * *

Воздух прозрачный и синий,
Выйду в цветочные чащи.
Путник, в лазурь уходящий,
Ты не дойдешь до пустыни.
Воздух прозрачный и синий.

Лугом пройдешь, как садом,
Садом в цветенье диком,

Ты не удержишься взглядом,
Чтоб не припасть к гвоздикам.
Лугом пройдешь, как садом.

Шепот ли, шорох иль шелест —
Нежность, как песни Саади.
Вмиг отразится во взгляде
Месяца желтая прелесть,
Нежность, как песни Саади.

Голос раздастся пери,
Тихий, как флейта Гассана.
В крепких объятиях стана
Нет ни тревог, ни потери,
Только лишь флейта Гассана.

Вот он, удел желанный
Всех, кто в пути устали.
Ветер благоуханный
Пью я сухими устами,
Ветер благоуханный.

<<1925>>

* * *

Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя.
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны.

Далеко-далече там Багдад,
Где жила и пела Шахразада.
Но теперь ей ничего не надо.
Отзвенел давно звеневший сад.

Призраки далекие земли
Поросли кладбищенской травой.
Ты же, путник, мертвым не внемли,
Не склоняйся к плитам головою.

Оглянись, как хорошо кругом:
Губы к розам так и тянет, тянет.
Помиришь лишь в сердце со врагом —
И тебя блаженством ошафранит.

Жить — так жить, любить — так уж
влюбляться.

В лунном золоте целуйся и гуляй,
Если ж хочешь мертвым
поклоняться,
То живых тем сном не отравляй.

Это пела даже Шахразада, —
Так вторично скажет листьев медь.
Тех, которым ничего не надо,
Только можно в мире пожалеть.

<<1925>>

* * *

В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не мог.

У меня в руках довольно силы,
В волосах есть золото и медь.
Голос пери нежный и красивый.
У меня в руках довольно силы,
Но дверей не смог я отпереть.

Ни к чему в любви моей отвага.
И зачем? Кому мне песни петь? —
Если стала неревнивой Шага,
Коль дверей не смог я отпереть,
Ни к чему в любви моей отвага.

Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.

До свиданья, пери, до свиданья.
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье,
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.

Март 1925

* * *

Голубая родина Фирдуси,
Ты не можешь, памятью простыв,
Позабыть о ласковом уресе
И глазах задумчиво простых,
Голубая родина Фирдуси.

Хороша ты, Персия, я знаю,
Розы, как светильники, горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят.
Хороша ты, Персия, я знаю.

Я сегодня пью в последний раз
Ароматы, что хмельны, как брага.
И твой голос, дорогая Шага,
В этот трудный расставанья час
Слушаю в последний раз.

Но тебя я разве позабуду?
И в моей скитальческой судьбе
Близкому и дальнему мне люду
Буду говорить я о тебе —
И тебя навеки не забуду.

Я твоих несчастий не боюсь,
Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь:
Запевая, обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь...

Март 1925

* * *

Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.

Быть поэтом — значит петь раздольно,
Чтобы было для тебя известней.
Соловей поет — ему не больно,
У него одна и та же песня.

Канарейка с голоса чужого —
Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.

Магомет перехитрил в Коране,
Запрещая крепкие напитки,
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идет на пытки.

И когда поэт идет к любимой,
А любимая с другим лежит на ложе,
Влагою живительной хранимый,
Он ей в сердце не запустит ножик.

Но, горя ревнивою отвагой,
Будет вслух насвистывать до дома:
«Ну и что ж, помру себе бродягой.
На земле и это нам знакомо».

Август 1925

* * *

Руки милой – пара лебедей —
В золоте волос моих ныряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.

Пел и я когда-то далеко
И теперь пою про то же снова,
Потому и дышит глубоко
Нежностью пропитанное слово.

Если душу вылюбить до дна,
Сердце станет глыбой золотою,
Только тегеранская луна
Не согреет песни теплотою.

Я не знаю, как мне жизнь прожить:
Догореть ли в ласках милой Шаги
Иль под старость трепетно тужить
О прошедшей песенной отваге?

У всего своя походка есть:
Что приятно уху, что – для глаза.
Если перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Ширази.

Про меня же и за эти песни
Говорите так среди людей:
Он бы пел нежнее и чудесней,
Да стубила пара лебедей.

<<1925>>

* * *

«Отчего луна так светит тускло
На сады и стены Хороссана?
Словно я хожу равниной русской
Под шуршащим пологом тумана», —

Так спросил я, дорогая Лала,
У молчащих ночью кипарисов,
Но их рать ни слова не сказала,
К небу гордо головы зависив.

«Отчего луна так светит грустно?» —
У цветов спросил я в тихой чаще,
И цветы сказали: «Ты почувствуй
По печали розы шелестящей».

Лепестками роза расплескалась,
Лепестками тайно мне сказала:
«Шаганэ твоя с другим ласкалась,
Шаганэ другого целовала.

Говорила: «Русский не заметит...»
Сердцу – песнь, а песне – жизнь и тело...
Оттого луна так тускло светит,
Оттого печально побледнела».

Слишком много виделось измены,
Слез и мук, кто ждал их, кто не хочет.

.
Но и все ж вовек благословенны
На земле сиреневые ночи.

Август 1925

* * *

Глупое сердце, не бейся!
Все мы обмануты счастьем,

Нищий лишь просит участия...
Глупое сердце, не бейся.

Месяца желтые чары
Льют по каштанам в пролесь.
Лале склоняясь на шальвары,
Я под чадрую укроюсь.
Глупое сердце, не бейся.

Все мы порою, как дети,
Часто смеемся и плачем:
Выпали нам на свете
Радости и неудачи.
Глупое сердце, не бейся.

Многие видел я страны,
Счастья искал повсюду.
Только удел желанный
Больше искать не буду.
Глупое сердце, не бейся.

Жизнь не совсем обманула.
Новой нальемся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.

Может, и нас отметит
Рок, что течет лавиной,
И на любовь ответит
Песнею соловьиной.
Глупое сердце, не бейся.

Август 1925

* * *

Голубая да веселая страна.
Честь моя за песню продана.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Слышишь, роза клонится и гнется —
Эта песня в сердце отзовется.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Ты ребенок, в этом спора нет,

Да и я ведь разве не поэт?
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Дорогая Гелия, прости.
Много роз бывает на пути,
Много роз склоняется и гнется,
Но одна лишь сердцем улыбнется.

Улыбнемся вместе, ты и я,
За такие милые края.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Голубая да веселая страна.
Пусть вся жизнь моя за песню продана,
Но за Гелию в тених ветвей
Обнимает розу соловей.

1925

* * *

Море голосов воробьиных,
Ночь, а как будто ясно.
Так ведь всегда прекрасно.
Ночь, а как будто ясно,
И на устах невинных
Море голосов воробьиных.

Ах, у луны такое
Светит – хоть кинься в воду.
Я не хочу покоя
В синюю эту погоду.
Ах, у луны такое
Светит – хоть кинься в воду.

Милая, ты ли? та ли?
Эти уста не устали.
Эти уста, как в струях,
Жизнь утолят в поцелуях.
Милая, ты ли? та ли?
Розы ль мне то нашептали?

Сам я не знаю, что будет.
Близко, а может, гдей-то
Плачет веселая флейта.
В тихом вечернем гуде

Чту я за лилии груди.
Плачет веселая флейта,
Сам я не знаю, что будет.

1925

Стихи двадцать пятого года

Еще в конце 1920-го Есенин писал Иванову-Разумнику: «...Перестроение внутреннее было велико. Я благодарен всему, что вытянуло мое нутро, положило в формы и дало ему язык».

Тогда, после «Сорокоуста», «Кобыльих кораблей» и перед «Пугачевым», поэту показалось, что перестроение кончилось, а оказалось, что в 1920-м он еще только начинал искать и формы и язык, адекватные его нутру, а нашел только теперь, в стихах-песнях 1925 года. Отныне он и «цветок неповторимый», и – безо всяких скидок – народный поэт, и никакие гонения не страшны его живым песням, ибо они, как и песни фольклорные, не нуждаются ни в печатном станке, ни в цензурном разрешении. Этот новый стиль был «нащупан» еще в 1924-м, в стихах на смерть Ширяева и в первых «главках» «Персидских мотивов», но тогда Есенин еще надеялся, что сможет прорваться из попугачиков в советские классики с большой эпической темой. Не прорвался. «Анна Снегина», как и маленькие поэмы 17–19 гг., как и «Пугачев», «в прицел» не «угодила». И он свернул со столбовой дороги на свою тропу. Теперь он уже не читал стихи, как прежде, он их пел – мастерски, с особыми интонациями и переходами, округляя особо выразительные места жестами...

Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком...

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Особенно часто и охотно исполнял Есенин в 1925-м «Песню» («Есть одна хорошая песня у соловушки...»), для которой приспособил популярный «кавказский» мотив, причем не только пел его, но и плясал – выплясывал именно песню, а не плясал под песню! Один из современников оставил такое описание этого уникального исполнения (на мальчишнике, летом, перед свадебным путешествием с Софьей Андреевной Толстой на Кавказ):

«Волосы на голове были спутаны, глаза вдохновенно горели, и, заложив левую руку за голову, а правую вытянув, словно загребая воздух, пошел в тихий пляс и запел... Как грустно и как красиво пел безголосый, с огрубевшим от вина голосом Сергей! Как выворачивало душу это пение...»

* * *

Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя – поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз.

Я утих. Годы сделали дело,
Но того, что прошло, не кляну.
Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну.

Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.
А теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист.

Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?
Все спокойно впивает грудь.
Стой, душа! Мы с тобой проехали
Через бурный положенный путь.

Разберемся во всем, что видели,
Что случилось, что стало в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.

Принимаю, что было и не было,
Только жаль на тридцатом году —
Слишком мало я в юности требовал,
Забываясь в кабацком чаду.

Но ведь дуб молодой, не разжелудясь,
Так же гнется, как в поле трава...
Эх ты, молодость, буйная молодость,
Золотая сорвиголова!

1925

* * *

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчому краю
Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!
И время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,
Как вешняя звень поутру,
И мне – чем сгнивать на ветках —
Уж лучше сгореть на ветру.

<<1925>>

* * *

Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие шторы
Вяжет взбалмошная луна
На полу кружевные узоры.

Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге...
В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге.

Сад польщит, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый».

Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Ничего не могу пожелать,
Все, как есть, без конца принимая.

Принимаю – приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отрада...
Мир тебе, отшумевшая жизнь,

Мир тебе, голубая прохлада.

1925

* * *

Не вернусь я в отчий дом,
Вечно странствующий странник.
Об ушедшем над прудом
Пусть тоскует конопляник.

Пусть неровные луга
Обо мне поют крапивой, —
Брызжет полночью дуга,
Колокольчик говорливый.

Высоко стоит луна,
Даже шапки не докинуть.
Песне тайна не дана,
Где ей жить и где погинуть.

Но на склоне наших лет
В отчий дом ведут дороги.
Повезут глухие дроги
Полутруп, полускелет.

Ведь не даром с давних пор
Поговорка есть в народе:
Даже пес в хозяйский двор
Издыхать всегда приходит.

Ворочусь я в отчий дом,
Жил и не жил бедный странник...

.
В синий вечер над прудом
Прослезится конопляник.

1925

* * *

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.
Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.
И сердце под рукой теперь больней и ближе,
И чувствую сильнее простое слово: друг.
Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.

Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балаханский май.
Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму...
Чтоб голова его, как роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреновом дыму.

Май 1925

* * *

Спит ковыль. Равнина дорогая
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не волеет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь.
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуюсь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

Свет луны таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревёнчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

Июль 1925

* * *

Вижу сон. Дорога черная.
Белый конь. Стопа упорная.

И на этом на коне
Едет милая ко мне.
Едет, едет милая,
Только нелюбимая.

Эх, береза русская!
Путь-дорога узкая.
Эту милую, как сон,
Лишь для той, в кого влюблен,
Удержи ты ветками,
Как руками меткими.

Светит месяц. Синь и сонь.
Хорошо копытит конь.
Свет такой таинственный,
Словно для Единственной —
Той, в которой тот же свет
И которой в мире нет.

Хулиган я, хулиган.
От стихов дурак и пьян.
Но и все ж за эту прыть,
Чтобы сердцем не остыть,
За березовую Русь
С нелюбимой помирюсь.

2 июля 1925

* * *

Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку – чтоб с рыбой невода,
Пахарю – чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.

Воду пьют из кружек и стаканов,
Из кувшинок также можно пить,
Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить.

Хорошо лежать в траве зеленой
И, впиваясь в призрачную гладь,
Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,
На себе, уставшем, вспоминать.

Коростели свищут... коростели.
Потому так и светлы всегда
Те, что в жизни сердцем опростели

Под веселой ношею труда.

Только я забыл, что я крестьянин,
И теперь рассказываю сам,
Соглядатай праздный, я ль не странен
Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык,
И с того, поднявшись над болотом,
В душу плачут чибис и кулик.

12 июля 1925

* * *

Видно, так заведено навеки —
К тридцати годам перебесясь,
Все сильней, прожженные калеки,
С жизнью мы удерживаем связь.

Милая, мне скоро стукнет тридцать,
И земля милей мне с каждым днем.
Оттого и сердцу стало сниться,
Что горю я розовым огнем.

Коль гореть, так уж гореть сгорая,
И недаром в липовую цветь
Вынул я кольцо у попугая —
Знак того, что вместе нам сгореть.

То кольцо надела мне цыганка.
Сняв с руки, я дал его тебе,
И теперь, когда грустит шарманка,
Не могу не думать, не робеть.

В голове болотный бродит омут,
И на сердце изморозь и мгла:
Может быть, кому-нибудь другому
Ты его со смехом отдала?

Может быть, целуясь до рассвета,
Он тебя спрашивает сам,
Как смешного глупого поэта
Привела ты к чувственным стихам.

Ну и что ж! Пройдет и эта рана.
Только горько видеть жизни край.

В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.

14 июля 1925

* * *

Я иду долиной. На затылке кепи,
В лайковой перчатке смуглая рука.
Далеко сияют розовые степи,
Широко синее тихая река.
Я – беспечный парень. Ничего не надо.
Только б слушать песни – сердцем подпевать,
Только бы струилась легкая прохлада,
Только б не сгибалась молодая стать.
Выйду за дорогу, выйду под откосы —
Сколько там нарядных мужиков и баб!
Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы...
«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?
На земле милее. Полно плавать в небо.
Как ты любишь доли, так бы труд любил.
Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был?
Размахнись косою, покажи свой пыл».
Ах, перо – не грабли, ах, коса – не ручка —
Но косою выводят строчки хоть куда.
Под весенним солнцем, под весенней тучкой
Их читают люди всякие года.
К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?
Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.
Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.
В этих строчках – песня, в этих строчках – слово.
Потому и рад я в думах ни о ком,
Что читать их может каждая корова,
Отдавая плату теплым молоком.

18 июля 1925

* * *

Гори, звезда моя, не падай.
Роняй холодные лучи.
Ведь за кладбищенской оградой

Живое сердце не стучит.

Ты светишь августом и рожью
И наполняешь тишь полей
Такой рыдалистою дрожью
Неотлетевших журавлей.

И, голову вздымая выше,
Не то за рощей – за холмом
Я снова чью-то песню слышу
Про отчий край и отчий дом.

И золотеющая осень,
В березах убавляя сок,
За всех, кого любил и бросил,
Листою плачет на песок.

Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется так же мне.

Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.
Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.

Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так:
Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.

17 августа 1925

* * *

Жизнь – обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письма.

Я всегда, когда глаза закрою,
Говорю: «Лишь сердце потревожь,
Жизнь – обман, но и она порою
Украшает радостями ложь.

Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,

Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе».

Хорошо в черемуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь – стезя.
Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменят легкие друзья.

Пусть меня ласкают нежным словом,
Пусть острее бритвы злой язык, —
Я живу давно на все готовым,
Ко всему безжалостно привык.

Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.
Те, кого любил я, отреклись,
Кем я жил – забыли про меня.

Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю.

17 августа 1925

* * *

Листья падают, листья падают.
Стонет ветер,
Протяжен и глух.
Кто же сердце порадует?
Кто его успокоит, мой друг?

С отягченными веками
Я смотрю и смотрю на луну.
Вот опять петухи кукарекнули
В обосененную тишину.

Предрассветное. Синее. Раннее.
И летающих звезд благодать.
Загадать бы какое желание,
Да не знаю, чего пожелать.

Что желать под житейскою ношею,
Проклиная удел свой и дом?
Я хотел бы теперь хорошую
Видеть девушку под окном.

Чтоб с глазами она васильковыми
Только мне —
Не кому-нибудь —
И словами и чувствами новыми
Успокоила сердце и грудь.

Чтоб под этою белою лунностью,
Принимая счастливый удел,
Я над песней не таял, не млея
И с чужою веселою юностью
О своей никогда не жалел.

Август 1925

* * *

Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.
Дальний плач тальянки, голос одинокий —
И такой родимый, и такой далекий.
Плачет и смеется песня лиховая.
Где ты, моя липа? Липа вековая?
Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.
А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.

Август 1925

* * *

Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!
Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?
Не шуми, осина, не пыли, дорога.
Пусть несется песня к милой до порога.
Пусть она услышит, пусть она поплачет,
Ей чужая юность ничего не значит.
Ну а если значит — проживет не мучась.
Где ты, моя радость? Где ты, моя участь?
Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше.
Все равно не будет то, что было раньше.
За былую силу, гордость и осанку
Только и осталась песня под тальянку.

8 сентября 1925

* * *

Сестре Шуře

Я красивых таких не видел,
Только, знаешь, в душе затаю
Не в плохой, а в хорошей обиде —
Повторяешь ты юность мою.

Ты мое васильковое слово,
Я навеки люблю тебя.
Как живет теперь наша корова,
Грусть соломенную теребя?

Запоешь ты, а мне любимо,
Исцеляй меня детским сном.
Отгорела ли наша рябина,
Осыпаясь под белым окном?

Что поет теперь мать за куделью?
Я навеки покинул село,
Только знаю – багряной метелью
Нам листвы на крыльцо намело.

Знаю то, что о нас с тобой вместе
Вместо ласки и вместо слез
У ворот, как о сгибшей невесте,
Тихо воет покинутый пес.

Но и все ж возвращаться не надо,
Потому и достался не в срок,
Как любовь, как печаль и отрада,
Твой красивый рязанский платок.

13 сентября 1925

* * *

Сестре Шуře

Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.

Наяву ли, в бреду иль спросонок,

Только помню с далекого дня —
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.

Я еще тогда был ребенок,
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.

Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.

13 сентября 1925

* * *

Сестре Шуře

В этом мире я только прохожий,
Ты махни мне веселой рукой.
У осеннего месяца тоже
Свет ласкающий, тихий такой.

В первый раз я от месяца греюсь,
В первый раз от прохлады согрет,
И опять и живу и надеюсь
На любовь, которой уж нет.

Это сделала наша равнинность,
Посоленная белью песка,
И измятая чья-то невинность,
И кому-то родная тоска.

Потому и навеки не скрою,
Что любить не отдельно, не врозь —
Нам одною любовью с тобою
Эту родину привелось.

13 сентября 1925

* * *

Сестре Шуře

Ты запой мне ту песню, что прежде

Напевала нам старая мать,
Не жалея о сгибшей надежде,
Я сумею тебе подпевать.

Я ведь знаю, и мне знакомо,
Потому и волнуй и тревожь,
Будто я из родимого дома
Слышу в голосе нежную дрожь.

Ты мне пой, ну, а я с такою,
Вот с такою же песней, как ты,
Лишь немного глаза прикрою,
Вижу вновь дорогие черты.

Ты мне пой, ведь моя отрада —
Что вовек я любил не один

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.